



СВЕТ И ТЕНЬ

Поселок Козыревск привольно расположился на правом берегу реки Камчатки. Казалось, сам Бог велел ставить здесь дома. Место прекрасное: долина реки — чистой, прозрачной, нерестовой, судоходной и самой мощной на полуострове. Правда, девять месяцев здесь бывают обильные снегопады и вьюги. А на оставшиеся три приходятся сразу весна, лето и осень. Первые исследователи края утверждали, что здесь растет самая высокая трава в России. Неподалеку от поселка — богатые луга и заросшая тайга, горячие подземные источники и бескрайняя тундра. Совсем рядом возвышается и вулкан Ключевской.

Избы рубленые, добротные. У каждой — дворик, огражденный невысоким штакетником. Сараи все похожи друг на друга, и возле каждого возвышаются поленницы наколотых дров золотистого цвета. Воды питьевой — сколько угодно. Вырыл неглубокий колодец — ставь журавль. Пресная вода в самой реке, да еще бесчисленное множество ключей разбросано повсюду. И вовсе не случайно ближайший поселок называется Ключи, а вулкан — Ключевским.

С давних времен здесь живут не только аборигены полуострова, но и казаки, в прошлом насильно переселенные из Сибири. И, может, поэтому слово «Сибирь» в Козыревске произносится с особой гордостью. От традиционно сибирского остались замысловатые узоры на наличниках окон, пельмени, священное отношение к могилам предков, почитание родителей да могучее здоровье.

Отменным здоровьем и недюжинной силой славился в поселке потомственный охотник Никита Сибирцев, который с гордостью и честью носил свою фамилию.

Был тихий зимний день. В этих краях редко можно увидеть снег на деревьях. Его сдувают сильные ветры. Но в тот день все кругом было белым-бело: накануне выпал обильный снег, а ветра не было. После двухнедельного пребывания в лесу Никита Сибирцев возвращался домой. Он шел по тропинке вдоль

берега реки. Самой тропинки не было видно, но человек, знающий дорогу с детства, всегда ее чувствует.

Когда до поселка оставалось версты три, Сибирцев заметил медвежий след. «Шатун», — мелькнуло в голове. Он уже слышал про него. Друзья, которые в эти дни охотились с Никитой и ночевали в одном охотничьем домике, в разных местах видели медвежьи следы.

Сибирцев был профессиональным охотником-промысловиком. Бывало, скажет не то в шутку, не то всерьез: «Я — человек государственный». Он прекрасно знал, что охота на медведя запрещена: косялапые охраняются государством. Но он хорошо знал и то, что настоящий охотник обязан выследить и убить медведя-шатуну. И потому, как ни торопился Сибирцев домой, он тут же решил идти по следу, или, как говорят камчадалы, взять переносу.

Сибирцев спешил, потому что знал: жена его, Пелагея, должна вот-вот родить. Может, уже и родила.

Ружья у него с собой не было, да оно ему и не нужно даже на случай встречи с медведем: дробью только будить в звере зверя.

Сибирцев вытащил со дна рюкзака зачехленную спицу, а остальной груз — трех одеревеневших на морозе зайцев — спрятал в кусты. Спица — это железный прут длиной сантиметров пятнадцать-двадцать, заостренный с обоих концов.

Спица была семейной реликвией: досталась Никите от отца, а тому — от деда. Оружие сибирских промышленников, как в старину называли охотников-промысловиков. Посередине спица утолщена, чтобы удобнее было держать в кулаке.

Сибирцев взял спицу в руку и с силой, до боли, сжал пальцы. Другой рукой он не торопясь стал наматывать длинный ремень на кулак и предплечье. Держа в одной руке спицу, в другой нож, Сибирцев взял переносу — след по свежему снегу. Он, конечно, не мог не думать о том, насколько это опасно. В поселке у них, например, живут несколько Дранкиных. Значит, кого-то в их роду медведь драл. Дранкиными на Камчатке звали несчастных, которые оставались в живых после того, как медведь железными когтями сдирал с них кожу.

Медведь шатается по лесу. Наверно, он болен, раз на зиму не лег в берлогу, как того требует природа. Он бродит в поисках пищи, с каждым днем становясь все злее. Рыба — подо льдом. Ягод нет. Лес спит. Он начинает есть бересту, кусты шиповника. Вообще камчатский медведь славится своим миролюбием. Но не дай бог попасть в лапы шатуну. Сибирцев знал об этом хорошо.

Медведь стоял на берегу реки и с тоской смотрел на снежную равнину. Может быть, он вспоминал, что в этом месте текла река, полная вкусных лососей. А теперь здесь почему-то только один снег.

Почуввав человека, медведь затрясся от возбуждения. Сибирцев стоял не двигаясь. Он выбрал ровную плотную площадку и ждал, пока шатун сам подойдет к нему. И вот косолапый, покачиваясь, медленно пошел на охотника, сделавшего шаг назад.

На какой-то миг противники замерли. Еще мгновение — и медведь с ревом бросился на человека. Сибирцев резко прыгнул в сторону, и зверь, двигаясь по инерции, налетел на дерево.

Продолжая реветь, шатун опять повернулся к противнику. Сжимая в руках спицу и нож, Сибирцев прыгал из стороны в сторону. Медведь махал лапами, все более разъярясь. Наконец, поднявшись на задние лапы, он выпрямился, отчего показалось, что он вдвое вырос, и, вновь заревев, кинулся на человека. В тот же миг Сибирцев сунул руку со спицей в широко раскрытую медвежью пасть. С налитыми кровью глазами шатун вертел головой, стараясь освободиться от спицы. Изо всей силы охотник ударил медведя ножом в бок. Кровь хлынула на снег.

Сибирцев притащил в поселок только голову медведя. Повесил ее у дверей. Таков старинный обычай на Камчатке. В тот же день у Сибирцевых родился сын, которого в честь деда называли Сергеем.

* * *

Жена Никиты Сибирцева, Пелагея Матвеевна, которую еще до замужества все в поселке звали только по имени-отчеству, была тихой и кроткой женщиной. Она чтит мужа выше всех на свете и часто говорила, что за ним она как за каменной стеной. Пелагея Матвеевна заранее должна была предупредить мужа о том, что в доме на исходе: мясо, мука, сахар, соль, медвежий жир. Он терпеть не мог, когда за чем-либо из необходимых продуктов приходилось отправляться в спешке. Это была профессиональная черта: охотники не выносят суеты.

И Никита Сибирцев крепко любил жену, относился к ней с уважением, хотя на людях своих чувств старался не показывать. Когда он возвращался с охоты, Пелагея Матвеевна первым делом стаскивала с него оленьи торбасы и подавала таз горячей воды для его больших жилистых ног. Всегда в такие минуты ему хотелось погладить жену по волосам, но словно какая-то сила останавливала его руку.

Но как бы ни старался Никита Сибирцев быть сдержанным, даже нарочито грубоватым, все равно Пелагея Матвеевна знала, что муж ее в душе нежный и ласковый человек. Особенно она почувствовала это, когда родила ему сына. Как-то именно в эти дни она с улыбкой сказала:

— Что ж ты никогда и не побьешь меня, Никитушка?

— Ты что это, дуреха?! Из ума выжила? За что бить? — удивился он.

— А вот соседки говорят: бьет — значит, любит. Высек — значит, пригрел.

— Не болтай глупости, а то и впрямь высеку, — улыбнулся муж и тут же добавил: — Ты бы лучше соседок позвала стол готовить. Гостей я буду звать.

Сибирцев задержался в поселке. Родился первенец, и отец хотел по-настоящему отпраздновать это событие. Три дня подряд к ним шли люди, приносили подарки, пили спирт, веселились.

Первыми пригласили врача и акушерку, которая приняла новорожденного. Это были муж и жена. Никто не знал их настоящих имен, не говоря уж о фамилии. Они прибыли в поселок года два назад. Оба черные, смуглые, совсем не похожие на местных жителей. Всем было интересно, откуда они родом, как их величать. Но расспросы ничего не дали: никто в Козыревске не знал краев, откуда они приехали, никто не мог запомнить даже имен приезжей пары. Директор школы и тот не смог выговорить «Сирануш Карапетовна» и «Гайк Апетнакович». Попробуй запомни.

Акушерку очень скоро стали звать Сашей, а потом и Сашенькой. А врач получил прозвище довольно неожиданное. Кто-то не то в шутку, не то всерьез спросил: «Ты откуда, брат, такой чернобровый, черноглазый? Там все такие?» Доктор ответил: «Родом я из Карабаха». Так и стали его звать: вначале — «доктор Карабах», потом — «доктор Караб», а через некоторое время, словно сговорившись, — «доктор Краб». Вскоре он и сам привык к новому имени.

В разгар веселья Никита Сибирцев попросил тишины, поднял налитый до краев стакан и предложил выпить за здоровье акушерки Сашеньки и доктора Краба. Все одобрительно загудели. За два года медики успели побывать почти во всех домах поселка, и вот сейчас, пользуясь случаем, каждый старался выразить им свои добрые чувства и беспокойство, что доктор Краб и акушерка Сашенька рано или поздно уедут из поселка. Доктор Краб медицинский институт окончил в Тюмени, и его

направили вместе с женой на Камчатку в Козыревск. Вот и решились они: поработают три года и вернуться в Армению.

Супруги-медики и в самом деле временами подумывали об отъезде. Два года на Крайнем Севере для южан — срок немалый. Всякого они за это время натерпелись. Особенно тяжелой была первая зима. Казалось, конца ей не будет. Девять месяцев лежал снег. К этому они никак не могли привыкнуть. Если бы не люди, не эти люди, что сидели сейчас за столом, они бы, может, и двух лет не выдержали. А тут еще дети: завидя супругов-медиков, они с веселыми криками бежали навстречу. Взрослые всегда старались поздороваться первыми, и лица у них при этом светились доброй улыбкой; старики подходили к забору и низко кланялись.

Однако вскоре, словно сговорившись, муж и жена ловили себя на том, что чем дальше, тем меньше они думают об отъезде.

* * *

Летом возле поселка было много полевых цветов, и Сережа Сибирцев вместе с матерью часто собирали букеты для кладбища. И домой они приносили большие охапки ромашек. Пелагея Матвеевна каждый день выбрасывала из стеклянной банки старые цветы и ставила новые. Всегда, перед тем как поставить букет на комод, она давала сыну понюхать цветы.

— Они ничем не пахнут, — говорил сын.

— А говорят, цветы в Сибири хорошо пахнут, — вздыхала мать.

— А где это Сибирь? — спрашивал Сережа.

— Далеко, сынок.

— А где это далеко?

— Я не знаю. Я там не была.

— А кто там был?

— Там наши предки были. Отсюда и фамилия твоя — Сибирцев.

— А кто это — наши предки?

И так до тех пор, пока Пелагея Матвеевна не произносила свое обычное: «Ну, хватит! Я уже устала».

Сереже было шесть лет, когда доктор Краб привез ему из города цветные карандаши и альбом для рисования. За неделю мальчик разрисовал весь альбом и чуть не плакал, когда мать не могла угадать, что он изобразил.

— Ну разве такая наша река? Ты нарисовал веревку, а не реку, — говорила мать.

— И неправда. У веревки не бывает берегов, — отвечал сын.

Узнав об увлечении сына, отец попросил доктора Краба, чтобы при случае тот привез из района побольше альбомов и карандашей. И очень скоро доктор Краб привез мальчику не только альбомы, но и несколько коробок с акварельными красками.

Сереза рисовал уже так, что дерево было похоже на дерево, собака на собаку, дом на дом. А однажды нарисовал круглое лицо с красной бородой. Это был его отец. Мальчик повесил портрет на стену и все ждал, когда отец вернется с охоты и увидит себя. Но легче всего было рисовать Ключевской вулкан. С наступлением темноты вершина светилась, отчего контуры сопки всегда были хорошо видны. По вечерам в ясную погоду Сереза часто всматривался в очертания сопки с красной вершиной, а утром брался за краски.

Однажды доктор Краб, просматривая альбомы, сказал: «Ты, Сереза, настоящий художник». Мальчик впервые услышал это слово.

* * *

У Сибирцевых появился еще один ребенок. Девочка. Назвали Олей. Никита Сибирцев отпраздновал это событие и сразу же, что-то задумав, отправился по реке до Усть-Камчатска, а оттуда — в Петропавловск-Камчатский, где жил один из его давних друзей.

Вернулся он в поселок только через месяц. На привязи за собой Никита Сибирцев тащил корову. Многие в поселке впервые видели это странное, медлительное, пятнистое животное, и потому и стар и мал вышли навстречу. Сибирцев решил, что с двумя детьми трудно будет без коровы. Он построил сарай, утеплил его. В конце концов, почему бы не попробовать? Пусть снег сходит с лугов в июне, а в сентябре все вокруг снова становится белым. Зато в оставшиеся три месяца скороспелая камчатская трава поднимается выше человеческого роста.

Через год примеру Сибирцева последовали многие. В поселке появились коровы и быки. Некоторые обзавелись свиньями. Не беда, что зима долгая да суровая. Главное — кормов достаточно. А у хорошего хозяина и коровник, и свинарник всегда будут утеплены и корма заготовлены впрок.

Хлопотнее стало Пелагее Матвеевне. Но счастливые это были хлопоты. Дети росли, а в доме всегда был достаток.

После рождения Оли Сережа частенько бывал предоставлен самому себе. И за ромашками ходил один. И на кладбище носил цветы один.

В последний год перед школой Никита Сибирцев часто брал сына с собой то на охоту, то на сенокос. Сережа поднимал палку к плечу и, воображая, что это ружье, «стрелял», выкрикивая: «Пах! Пах!» Он помогал отцу разжигать костер, довольно ловко снимал шкуру с зайца, общипывал ошпаренного кипятком глухаря. А вскоре он научился самостоятельно ставить капканы и потом с нескрываемым мальчишеским азартом подбирал на снегу околечных зайцев и соболей. Иногда в капкан попадались даже волки.

Дома Сережа рисовал то, что видел на охоте. И когда его спрашивали, кем он хочет стать, не задумываясь отвечал: «Художником». Слово это он очень любил.

* * *

Поселковая школа помещалась в деревянном домике из трех комнат. Директор школы, немолодой уже человек, которого все звали не иначе как Старый сельский учитель, после многочисленных поездок в город добился наконец, что школу из четырехлетней сделали семилетней (а позже и десятилетней). Правда, в седьмом классе был всего один ученик, зато во втором училось пятнадцать ребят.

Старый сельский учитель всегда возвращался из города с большим грузом. Ученики встречали его на пристани и помогали дотащить до школы кипы книг, рулоны карт, какие-то картонные ящики.

Многого он добился в городе у начальства, но вот никак не мог заполучить педагога по иностранному языку. «Дайте мне учителя хоть по-китайскому», — не раз говорил он. Но специалистов по языкам не было. Те, кто приезжал с материка, оставались в городе. Кому захочется ехать в какой-то Богом забытый поселок?

Однажды Старый сельский учитель оказался на операционном столе. Острый аппендицит. Оперировала доктор Краб, ассистировала акушерка Сашенька. Супруги давно работали вместе, все у них было налажено и четко. Ассистентка с полуслова понимала хирурга. Как правило, несколькими словами перекидывались они перед самой операцией, а дальше уже работали молча, сосредоточенно. На этот раз больной, засыпая под эфирной маской, забеспокоился: чувствовалось, что он

хочет что-то сказать. Сашенька даже приподняла маску с его лица, но он уже спал.

Операция прошла удачно. Когда больной пришел в себя, первое, что он увидел, было смуглое лицо доктора, резко выделявшееся на белом фоне. Старый школьный учитель напряженно всматривался в это лицо: оно показалось ему необычным.

Когда больной отвечал на традиционные вопросы врача, в палату вошла Сашенька, и тут Старый сельский учитель вдруг преобразился, словно его осенила великолепная мысль. Он хотел было приподняться, но тут же опустил на подушку, морщась от боли.

— Мне показалось, что перед самой операцией вы хотели что-то сказать? — спросила Сашенька.

— Вот именно, хотел сказать.

— Сейчас можно, потихонечку.

— На каком языке вы говорили друг с другом, когда готовились резать меня?

— Как на каком? — переспросила Сашенька. — На русском.

— Нет, не на русском. Уж я-то, слава Богу, знаю русский.

Акушерка Сашенька весело рассмеялась, а за ней — и доктор Краб.

— Так на каком же языке? — улыбаясь переспросил больной.

— Если не на русском, то, конечно, на армянском, — сказала Сашенька.

— Мы, наверное, думали, что вы уже спите, и заговорили по-армянски, — добавил доктор Краб.

— Это же великолепно! Это же просто идея! Эврика!

— О чем вы?

— Как о чем?! Да все о том же. Все о школе моей. О ребятах моих... В самом деле — эврика! Пока мне пришлют этого самого иностранца, вы оба сможете учить наших детей армянскому языку.

— Вы что, серьезно? — спросила Сашенька.

— Очень даже серьезно. Серьезнее уж некуда. В этом деле у меня есть принцип: один язык — богатство, два языка — двойное богатство.

— Это исключено, дорогой мой, — сказал доктор Краб. — Во-первых, для того чтобы преподавать, нужно иметь педагогическое образование; во-вторых, необходимы учебники; в-третьих, учить детей армянскому языку, не предусмотренному программой, — это, мягко говоря, незаконно.

— А вовсе не учить детей второму языку, хотя предусмотрено на выбор целых три, — это, по-вашему, законно?

Старый сельский учитель настоял на своем. С нового учебного года юные потомки русских казаков, сибирских крестьян и аборигенов полуострова старательно выписывали на доске и в тетрадах замысловатые знаки алфавита, созданного более полутора тысячелетий назад в далекой стране Армении. Они учились произносить слова, из которых составляли потом целые фразы. Они узнавали новый язык. Когда в класс входили доктор Краб или акушерка Сашенька, ребята хором приветствовали их по-армянски: «Барев». В отличие от родителей, дети быстро научились произносить имена и отчества своих учителей. А позже и взрослые, встречая на улице доктора Краба и Сашеньку, с улыбкой говорили: «Барев!»

* * *

С появлением Оли все внимание родителей переключилось на нее. Сережу это ничуть не обижало. Он чувствовал себя взрослым и гордился этим.

Когда бы он ни проснулся, мать была уже на ногах. Мальчик никогда не видел, чтобы она сидела без дела. Но он понимал, что главное в жизни их семьи — работа отца, который неделями пропадал на охоте и дома тоже не знал покоя. Раньше всех в поселке заготавливал он дрова на зиму. «Хороший хозяин дров на три года вперед запасаает, — любил говорить он. — Мало ли что может случиться...»

Сережа старался помогать отцу. Особенно в пору сенокоса. Они вместе косили траву на другом берегу. Сено было нелегко перевозить домой: груженую лодку относил течением, и грести приходилось, не давая себе ни минуты слабинки.

Несколько раз за лето отец ездил в город, и тогда мальчик шел в поле и рвал цветы для дома и для кладбища.

Вечером тридцать первого августа у Сибирцевых был праздник. Сережу одели в новый клетчатый костюм. Он сам положил в новый портфель тетради, карандаши, букварь. По просьбе взрослых он прошелся с портфелем в руках вокруг стола. Все охали, ахали и хвалили его. Мать не успевала вытирать слезы, и Никита Сибирцев говорил ей: «Опять у тебя, мать, глаза на мокром месте? Опять сырость разводишь по всей Камчатке?» Пелагея Матвеевна смеялась и, вытирая глаза, обещала: «Не буду больше, не буду...»

На следующее утро Сережа встал раньше всех, даже раньше матери. Ему не спалось, боялся, что опоздает в школу. Все про-

верял содержимое портфеля, перекалывал тетради, букварь, карандаши.

Отец еще накануне решил: ответит сына в школу и только потом отправится в тайгу. До избы, в которой помещалась школа, всего-то было шагов сто. Но эти сто шагов отец хотел пройти с сыном вместе. Он надел новую рубаху, почистил сапоги. Подошел к зеркалу, присмотрелся. Снял рубаху. Достал ножницы, которые всегда висели на оленьих рогах, прибитых к стене, и начал подравнивать рыжую бороду, тронутую редкой сединой.

В зеркало он почти никогда не смотрелся. Не мужское это дело — так он считал. Иногда, в месяц раз, подровняет ножницами бороду, невольно посмотрит на себя, и то как-то невнимательно, рассеянно. Спроси его, какого цвета у него глаза, он бы ни за что не ответил. Одно знал хорошо: кудри, непослушно спадавшие на лоб, были какие-то серые, а борода — рыжая. И он часто говорил: «Вот поседею, тогда сровняются».

Подправив бороду, Никита Сибирцев стряхнул волосы и вновь надел праздничную рубаху. Налил из початой бутылки стакан спирту. Набрал черпак холодной воды и подошел к окну. Перекрестился рукой, в которой держал стакан; медленно, не морщась, выпил до дна, перевел дух и осушил весь черпак.

В это время Сережа и без пяти минут трехлетняя Оля носились по дому. Сережа говорил сестре: это нельзя, то нельзя, а она все делала по-своему и залиvisto хохотала.

Пелагея Матвеевна суетилась у плиты. Спешила с завтраком, хотя времени было еще много.

Наконец Сережа снял со спинки стула свой новый клетчатый костюм и начал одеваться. Он долго возился, пока застегнул все пуговицы. Ему захотелось еще раз посмотреть на себя во всем новом, и он пошел в другую комнату, где находилось большое зеркало. Сережа увидел, как Оля, стоя перед зеркалом, видимо подражая отцу, водит по подбородку ножницами, которые отец забыл повесить на место.

— А ну, сейчас же отдай ножницы, — громко сказал Сережа.

Оля звонко расхохоталась и юркнула через другую дверь в коридор. Сережа бросился за ней. Он схватил ее за руку. Она продолжала смеяться, крепко сжимая пальцы, просунутые в кольца ножниц. Сережа, не ожидая такого сопротивления, изо всех сил потянул ножницы к себе...

Вдруг острая боль пронзила его, словно кто-то зажег в его глазах яркий огонь. От неожиданности и боли он не мог даже

крикнуть и только ладонью давил и давил на глаз, боясь отпустить руки.

Оля продолжала хохотать. Она думала, что Сережа играет с ней и нарочно встал на колени и качает головой вниз-вверх.

...Прибежавший доктор Краб был бессилён чем-нибудь помочь. Он так и сказал: «Ничего уже не поделаешь, глаз вытек».

У доктора Краба своих детей не было. Может быть, именно поэтому он очень привязался к Сереже. Особенно после того, как задумал научить мальчика рисовать.

В тот же день доктор Краб и Никита Сибирцев повезли мальчика в районный центр к главному врачу, но и там ничего утешительного не сказали: подтвердили, что глаз погиб. Кроме того, глазной врач предупредил, что может пострадать и второй глаз. «Так часто бывает, — сказал он. — Глазные нервы перекрещиваются, и когда случается беда с одним глазом, то может ослепнуть и другой».

Доктор Краб попросил отца с сыном выйти в коридор и набросился на своего коллегу: «Зачем вы с такими чудовищными подробностями рассказываете при больном все эти детали? Как вы смеете так себя вести!» К удивлению доктора Краба, его коллега ничуть не рассердился и тихонько сказал: «Простите, я не подумал... Но, к сожалению, так, вероятно, и будет. Второй глаз скорее всего тоже перестанет видеть. Мальчик будет различать только свет и тень. Я просто хотел предупредить — не больше. А мы тут пока бессильны. Что же касается моих слов, простите...» Доктор Краб почувствовал себя неловко. «Чего уж там, — сказал он смущенно и тихо, — вы меня простите. Вот я набросился на вас, а сам не могу забыть, как при отце сказал, что глаз вытек. Привыкли мы выражать свои мысли как есть, вот и выскочило. Ехали мы сюда, всю дорогу молчали. И всю дорогу я думал над этим, как будто зло в этом заключается. Ну а когда вы еще добавили, что ожидает мальчика, меня прорвало. Хорошо, хоть сдержался при них...»

* * *

Через месяц после несчастного случая к Сибирцевым пришли Старый сельский учитель и доктор Краб. Говорили о разном. Говорили тихо и чувствовали себя скованно. Никита Сибирцев сидел за столом, не поднимая головы, словно провинился в чем. Вообще с того страшного дня он старался не показываться на людях. Если же приходилось с кем встречаться, то отводил взгляд в сторону. Он не хотел видеть жалости и сочувствия.

Но Старый сельский учитель и доктор Краб пришли к Сибирцеву с предложением.

— Сережа должен ходить в школу, — тихо, но строго сказал Старый сельский учитель.

Никита Сибирцев ничего на это не ответил.

— Поймите, Никита Сергеевич, — уговаривал доктор Краб, — нельзя допустить, чтобы несчастье порождало несчастье. Мальчик должен учиться. Случилась беда. Ее теперь ничем не поправишь... Мы пришли не для того, чтобы успокаивать вас...

— Мальчик должен ходить в школу — повторил Старый сельский учитель. — Может, ему больше, чем кому-либо, нужно учиться. В конце концов, великий русский полководец Кутузов был одноглазым...

— Великий русский полководец Кутузов не был моим сыном, — сказал Никита Сибирцев, все еще не поднимая головы.

— Поймите, — настаивал доктор Краб, — это не тот случай, когда может помочь время. Скорее наоборот. Мальчику обязательно нужно ходить в школу.

— Да я разве против того, чтобы Сережа учился? — сказал Никита Сибирцев. — Ему нужно учиться, я понимаю. Ведь даже после всего этого он не расстается с красками. Все рисует и рисует. Словно спешит куда. Тихий стал, нелюдимый. А еще такой малый. Будто весь мир его перевернулся. Я вот приглядываюсь к нему, и все кажется, будто у него какое-то предчувствие, будто он чего-то боится. Сердце болит, когда смотрю на него. Готов в такие минуты руки на себя наложить. Винюсь, что ножницы проклятые не повесил на место. И как же Бог такое допускает, а? Я после бродил по тайге один со своими думами и так решил, что на этой земле не все создано как надо. Ведь зверям в лесу живется куда легче, чем человеку. Ну, прямо не сравнишь с человеком, который всегда терзается мыслями о завтрашнем дне. Да что о завтрашнем! Думаю и о том, что будет через десять, через двадцать лет, и уже заранее сердце кровью обливается.

Сибирцев еще долго говорил. И чем дальше, тем охотней, словно давно ждал момента, чтобы выговориться.

Через неделю после этой встречи доктор Краб зашел утром к Сибирцевым и повел Сережу в школу. Но всего два дня ходил он на уроки. Кто-то из мальчишек на перемене назвал его кривым. Обидчика отлупили. Особенно старалась голубоглазая курчавая девочка Маша, которая сидела с Сергеем Сибирце-

вым за одной партией. Сережа оставил в классе портфель с тетрадями, карандашами, букварем и завтраком. Он ушел домой, чтобы больше никогда не возвращаться в школу.

* * *

Никита Сибирцев решил не неволить Сережу, подождать до следующего года, а там видно будет. «Нечего парнишку терзать». Он взял сына с собой в лес. Сережа вскоре уже знал все охотничьи домики, разбросанные в тайге и далеко в тундре. Возвращаясь на день-два домой, он больше не садился рисовать. Правда, несколько раз доставал было альбом, но потом откладывал его в сторону, даже не раскрыв.

В школу он не пошел ни через год, ни через два. «Если вы будете заставлять меня, я спрячусь в лесу и больше не вернусь домой».

Прошло три года. Мальчик подрос, мог целый день находиться на ногах, научился хорошо стрелять из ружья. Но стрелял он только в уток, глухарей, куропаток. Отец часто спрашивал: «Почему не стреляешь в зайцев?» Сын неизменно отвечал: «Я люблю больше в небо».

Возвращались домой всегда вместе, всегда веселые, как с праздника. Еще с порога отец с сыном кричали дружно: «Мать, принимай трофеи!»

Пелагея Матвеевна, наверное, целый год после несчастья ни с кем не разговаривала, даже с мужем. Делала все по дому молча. И только чуть отошла, когда вновь забеременела. Ожила. Мечтала о сыне. Все никак не могла забыть, как муж после рождения Сережи с гордостью сказал: «Я из сына сделаю настоящего мужчину».

Родила она дочь. Назвали Сашей в честь акушерки Сашеньки. Но через год, как говорила сама Пелагея Матвеевна, Бог услышал ее молитвы, и родился мальчик. Решили назвать поновому, чтобы модно было, и дали новорожденному, не подозревая того, одно из древнейших имен — Анатолий.

Теперь уже Никиту Сибирцева и Сережу встречал шумный дом: Пелагея Матвеевна, сильно раздобревшая после последних родов, шестилетняя Оля и погодки: Саша и Толик.

Всякий раз ко времени возвращения охотников домой Пелагея Матвеевна готовила такие вкусные блюда и в таком обилии, что невольно приходилось приглашать гостей, среди которых постоянно были одинокий Старый сельский учитель, акушерка Сашенька и ее муж доктор Краб. По давнишней тра-

диции в доме у Сибирцевых приветствовали гостей непременно по-армянски: «Барев!»

Как-то доктор стал рассматривать Сережины альбомы, аккуратно уложенные в шкафу. Это мать все их собрала в одном месте, чтобы не затерялись. Доктора Краба поразил последний рисунок. На первый взгляд ничего нельзя было разобрать в хаосе красок и линий, но стоило прищурить глаза и отвести рисунок подальше, как на нем отчетливо проступали небо, облака, птицы, лес, река.

Доктор Краб понял, в чем дело. Теперь Сережа практически уже ослеп, и это, видимо, произошло давно. С тяжестью в душе вспоминал он, как они уговаривали и даже заставляли мальчика ходить в школу.

Сережу вновь повезли в районную больницу к главному врачу. Врач долго осматривал его, сначала в светлой комнате, потом в темной, направляя луч света в глаз. Просил, чтобы Сережа, стоя у дверей, называл знаки таблицы, висевшей на противоположной стене. Сережа покачал головой и сказал, что в комнате очень темно. Когда мальчик вышел из кабинета, врач сказал доктору Крабу и Никите Сибирцеву:

— К сожалению, все, о чем я тогда говорил, подтвердилось. Теперь уж нечего скрывать. И это у него давно. Мальчик не видит. В светлый день он различает только свет и тень.

— Невероятно, — выдавил из себя Никита Сибирцев, — столько лет он все время рядом со мной, и я ничего не заметил. Он свободно ходит по лесу, отлично стреляет...

— Как — стреляет? — удивился глазной врач. — Быть этого не может! Он действительно может свободно ходить по улице, ориентироваться в лесу, улавливая, ощущая свое приближение к какому-нибудь предмету или человеку... Но стрелять в лесу...

— Нет, в лесу он не стреляет. Все больше в поле — в глухарей и куропаток. Я его спрашиваю: почему ты, сынок, зайцев не стреляешь, а он говорит, что больше в небо любит.

— Тогда понятно, — сказал врач. — Глухарь или любая другая птица в небе — это темное пятно на светлом фоне. Получается — все те же свет и тень. И все-таки ружье ему больше не давайте.

* * *

Со временем Сережа привык к своему недугу. Он, можно сказать, иной раз забывал о нем. Даже думал, что все люди вот так, как он: видят только свет и тень, а остальное представляют

себе по памяти. И вдруг ни с того ни с сего он стал часто вспоминать Машу. Сам этому удивился. В его памяти она оставалась такой, какой он видел ее еще в школе, когда они два дня сидели за одной партой. Мысли о ней приходили неожиданно и в самое разное время. Стрелял ли он в куропаток, тащил ли за спиной в рюкзаке соболей, вел ли с отцом через реку лодку, груженную сеном, часто ему казалось, что где-то совсем рядом стоит Маша и смотрит на него. Смотрит с гордостью. А лицо у нее как у ребенка — нежное, чистое, сама тоненькая, а глаза голубые. Совсем как небо, которое он очень любит. Он однажды даже матери сказал: «Я тебя люблю, как небо».

Обычно о недуге ему напоминала мать. Прильнув щекой к оконному стеклу, она смотрела куда-то вдаль и часто плакала, скрывая слезы от сына. Правда, с годами она немного успокоилась, но никому, даже себе самой, не хотела признаваться в этом. Ей казалось, что она грех на душу берет.

Пелагее Матвеевне не рассказали о разговоре с глазным врачом. Но она сама видела, как в темноте сын двигается с вытянутыми вперед руками. Она догадалась и о том, почему он забросил любимое занятие и больше не притрагивался к краскам. Догадалась обо всем, но решила, в свою очередь, ничего не говорить мужу.

* * *

- Сколько лет живет человек? — спрашивал Сережа отца.
- Это уж кому сколько на роду написано...
- А как узнать, сколько написано?
- А зачем? И узнавать не надо. Живет себе человек и пусть живет. Главное, чтобы человеком был. А там и неважно, тридцать проживет или сто.
- А сто — это много?
- Если сравнить с собакой или волком, то много. Сто лет жить, значит, много волчьих жизней прожить.
- Ух ты! А мне — пятнадцать...
- Значит, уже больше волчьей жизни.
- Как мне еще долго до ста!
- А ты что, не рад?
- А ты рад, отец?
- Ты за себя отвечай. Я-то уж, считай, больше половины прожил.
- Не знаю, отец. Я и рад, и не рад.
- Что это так, Сережа?

- Скажи, отец, для чего живет человек?
- Ну и вопросы у тебя! Это что, сенокос так действует?
- Ты все-таки объясни, для чего живет человек.
- Да как тебе сказать? Живет человек, потому что родился и надо жить. Нельзя не жить.
- И это все?
- Ну почему все? Тут разве двумя словами скажешь. Я так думаю: живет человек для добра, потому как без добра никак нельзя.
- А что для этого надо?
- Надо, чтобы, с одной стороны, детям было хорошо, с другой — чтобы могилы отцов были ухожены. Вот и живет: строит дом, чтобы было где жить ему и детям, добывает пушнину, зарабатывает на жизнь, косит сено, чтобы для маленьких было молоко, заготавливает дрова, чтобы было тепло.
- А потом умирает?
- Потом умирает, — подтвердил отец.
- И ничего не остается после человека?
- Почему это ничего? Все остается. Вон видишь, на том берегу свет горит.
- Вижу. Это окна в домах нашего поселка.
- Свет этот от людей остается. Люди уходят, а свет после них остается.
- А бывает, что ничего не остается от человека?
- Бывает. Бывает вместо света от человека остается только тень... Давай-ка лучше залезем в кукули да поспим, а то завтра работы много: докосить надо, и пора везти сено домой.
- «Остается свет или тень, — думал Сережа, — а я ведь всегда вижу только свет и тень».

* * *

Плоты обычно вяжут на самом берегу реки. Зиму и весну они лежат на земле, а когда в горах тает снег и река начинает разливаться, плоты сами поднимаются на воду. Тут уж в оба глядят плотогоны. Стоя на хлыстах с длинными шестами в руках, они ждут момента, когда плоты двинутся с места. Иногда ожидание это длится несколько суток — и днем и ночью. Тяжелая работа — гонять плот по реке. Перекаты, повороты, мели. Ни на минуту нельзя выпускать шест из рук. Но работа эта не только трудная. Она вдобавок еще и неблагоприятная.

Дело в том, что, как ни старайся, не все плоты доходят до цели, до устья реки Камчатки. Иные все-таки развязываются в

пути. Тогда худо дело. Камчатская лиственница и без того тяжелая, а как намокнет, так и тянет ее ко дну. Утонуло дерево, и его уже не называют «столбом», «хлыстом», «сигарой». Его называют иначе: «топьяк». Этими топляками вымощено все дно реки. Так бы ничего, да рыбе плохо.

Если как следует взглядеться, можно увидеть в воде стаи веселых, шустрых мальков. Они плывут по течению, скорее их несет сама вода. Несет к Тихому океану. Через несколько лет вернуться они этой же дорогой, непременно этой и никакой другой. На их возвращение даже смотреть трудно. Мощными, гладкими серебристыми боками бьются лососи о камни, о берега, о дно, стремясь добраться туда, где некогда из малюсеньких красных икринок-бусинок зародилась их жизнь. Добраться, чтобы подарить океану тысячи себе подобных. Когда они скапливаются в местах наиболее труднопроходимых, кажется — кипит ледяная вода. Рыбы бьются, во все стороны летят брызги, камушки, песчинки, ил. Рыбы бьются друг о друга, неистово рвутся вперед, перекатываются через камни, пни, через топляки, которых с каждым годом становится все больше и больше.

Топляки не только мешают передвижению рыб, но и губят икру. Вот почему в такой нерестовой реке, как Камчатка, бедных плотогонов ругают последними словами, считают варварами.

Но от топляков страдала не только рыба. То и дело речные суда напарывались на зловещие бревна. С тех пор как козыревцы, с легкой руки Никиты Сибирцева, обзавелись коровами, они вынуждены были возить с противоположного берега домой на лодках сено. И редко когда удавалось обойтись без столкновения с топляком. В начале лета козыревцы всегда проводили в реке очистительные работы, но все равно сверху, перекатываясь по дну, сползали к ним все новые стволы деревьев.

В то утро Никита Сибирцев и Сережа вытащили на берег свою узкую и длинную лодку, напоминающую байдару аборигенов Камчатки и Чукотки, и стали грузить в нее свежее, пахучее сено. Отец подавал вилами, сын утрамбовывал ногами. Стог получился большой. Перевязали его крест-накрест и по команде отца столкнули лодку в воду. Отец устроился на носу, сын — на корме. Обычно козыревцы начинали переправу километра на полтора выше по течению, и лодка при хорошей работе гребцов подходила к берегу как раз у самого поселка.

Никита Сибирцев и Сережа гребли молча. Они уже привыкли слаженно работать. Сережа, сидя на корме за стогом сена, смело тянул к груди тяжелые весла, ничуть не беспокоясь о на-

правлении. Для него это всегда были радостные минуты. Он отчетливо видел ровную полоску уходящего берега на фоне светлого неба и светлой воды. На корме хорошо слышны нежные всплески воды и тихая песня буруна. Лодка шла быстро, косо пересекая широкий просвет реки.

Вдруг словно тяжелый камень ударил по деревянному борту. Нос лодки застрял на месте, в то время как корму стало стремительно заносить по течению. Вновь раздался тупой удар, и в тот же миг тяжело груженная лодка накренилась и перевернулась. Серезу отбросило в сторону. Отец упал в воду, и стог придавил его.

Серезу несло мощное течение. Он отчаянно махал руками и истошно кричал. Мальчик видел только огромное светлое пятно неба и черную линию воды. Он не понял, что лодка перевернулась, не понял, что случилось с отцом.

Сереза напряженно силился обнаружить очертания правого берега. Поселок находился где-то рядом. Там его спасение. Он остервенело работал ногами и руками.

Но берег все не появлялся, и силы оставляли его. Правую ногу схватила судорога, и она стала как деревянная. Он еще пытался звать отца на помощь. Боль с ноги перебиралась на живот. Несколько раз он погружался в воду с головой и вновь отчаянным движением рук из последних сил выныривал на поверхность. И в тот миг, когда он уже изнемог от борьбы и ему стало все равно, утонет он или нет, его рука зацепилась за ветку. Он судорожно сжал пальцы и стал подтягиваться. Это был еще не берег. Это был залом, образовавшийся вокруг топляка.

Теперь, если бы даже захотел, он не смог бы разжать пальцы. Судорога свела и другую ногу. Нестерпимая боль ощущалась во всем теле. Сереза еще несколько раз позвал на помощь отца, но потом у него пропал голос, он мог только шевелить губами.

...Подоспевшие односельчане вытащили Серезу из реки. Мальчик порядком нахлебался воды, был без сознания, но пальцы его крепко сжимали ветку. Прибежал доктор Краб. Он попросил поднять Серезу за ноги, а сам, стоя на коленях, начал массировать ему грудь и живот. Вода хлынула из Серезино рта. Несколько раз доктор Краб повторил эту процедуру, пока не убедился, что в легких у мальчика нет воды. Тогда он положил его на спину, а сам встал на колени у изголовья и начал ритмично делать искусственное дыхание.

Собравшиеся вокруг люди расступились, когда кто-то крикнул: «Дайте пройти Сашеньке!»

— Скорее, — сказал доктор Краб, завидя жену, — приготовь шприц с адреналином и иглу подлиннее.

Он попросил ее продолжать делать мальчику искусственное дыхание, сам же взял кусочек марли, приложил к Сережиным губам и начал вдвухать ему воздух прямо в рот. Но сердца не было слышно. «Время уходит, — буркнул доктор Краб и скомандовал: — Шприц с адреналином!»

Разорвав на Сереже мокрую рубаху, доктор Краб двумя пальцами чуть натянул кожу на ребрах и проколол грудь длиннющей иглой. Толпа ахнула. Опять крикнули: «Отойдите, дайте воздуху!». И все разом отступили.

После укола тело Сережи дернулось. Сашенька продолжала делать искусственное дыхание. Сережа время от времени с хрипом вдыхал воздух и так же с хрипом выдыхал, а она все продолжала ритмично поднимать и опускать его руки.

Сережа открыл было глаз, повел головой по сторонам. Толпа загудела, закачалась, но доктор Краб поднял руку и все вмиг замолкли.

— Тише, не галдите, — сказал он и стал похлопывать парня по щекам, повторяя: — Сережа! Сережа! Мальчик мой!

Сережа вновь открыл глаз, вновь повел головой и, едва шевеля губами, произнес:

— Отец... Где отец?

— Как где отец? — громко и с удивлением переспросил доктор Краб. — Сережа, Сережа! Отец был с тобой?

Но Сережа молчал. Только сейчас доктор Краб понял, что произошло. Он понял, что отец с сыном переплывали реку и...

— Все к реке! — скомандовал он. — Ищите Никиту Сибирцева.

Люди бросились к воде, разбрелись по всему берегу.

Никиту Сибирцева нашли на илистом перекате. Он был мертв.

* * *

Доктор Краб и акушерка Сашенька собирались наконец-то оставить Камчатку, где они пробыли более двадцати лет. В последнее время доктор Краб часто думал о предстоящей разлуке с Козыревском. Но думал не только об этом: «Прожита целая жизнь. Уже пятьдесят. Отныне я даже мечтать не имею права. Поздно мечтать. Разве можно было ожидать от жизни такой скоротечности. В тридцать стал врачом, думал — впереди большая интересная жизнь. И вот не заметил, как прошли

двадцать лет. Прошли, и ничего я не добился. Рядовой сельский врач. Доктор Краб. За двадцать лет я приобрел здесь только это смешное прозвище. Даже мои соотечественники не догадаются, что Краб образован от слова «Карабах». Но я привык к этому имени, как, впрочем, привык здесь ко многому: пурге, землетрясению, русской печке. Двадцать лет я отдал этому поселку, и единственное, что уношу с собой, — мое редкое прозвище, которое стало именем. И Сирануш перекрестили в Сашеньку, и она тоже привыкла. Рано или поздно все равно нужно уезжать. Домой. В Карабах. Не беда, что не получился из меня великий специалист. В конце концов, этому миру пока еще нужны и рядовые сельские врачи. Тысячи врачей приходили и уходили, а Гиппократ один. И Дженнер один. И я ведь один. Кому-то надо было лечить здесь людей все эти двадцать лет. Кому-то надо было все эти двадцать лет принимать роды, перевязывать детям пуповину. Мы оставим здесь наши души, наши сердца и уедем». Да и не раз ловил себя на мысли, что, если бы Бог дал им детей, то давно уже вернулись бы домой.

Доктор Краб и Сашенька решили уехать осенью, до наступления холодов. Об этом уже знал весь поселок, и люди договаривались друг с другом, как лучше устроить проводы медикам, которые двадцать лет были самыми желанными гостями в каждом доме.

Именно поэтому прохожие удивлялись, когда видели, как доктор Краб у себя во дворе пилит дрова. Но больше всех удивилась сама Сашенька, когда, вернувшись с дежурства, застала мужа с электропилой в руках рядом с горой дров.

— Зачем это нам?

— Да так, по привычке, — сказал он, как ей показалось, смутившись.

— Не понимаю. Дров у нас на зиму еще хватило бы, а на днях мы уезжаем...

— Сирануш, — доктор Краб уселся на свежераспиленный большой пень, — садись вот сюда, рядом.

— Чует мое сердце, ты опять что-то задумал.

— Ничего я не задумал. Ну, пойми, умер наш друг Никита Сибирцев...

— Понимаю, — сказала жена.

— Ну, неужели ты не понимаешь, что теперь в этой большой семье за хозяина остался только слепой парнишка, которого мы с тобой едва выходили. Остальные — мал мала мень-

ше, и мать у них, считай, потеряла рассудок от горя. Хозяину дома всего пятнадцать, и он, как говорит районный окулист, различает только свет и тень... Мы не можем уехать. Пока не можем. Мы не можем уехать именно сейчас.

Сашенька прижалась к мужу, положила седеющую голову на его плечо, не проронив ни слова. Она сама много думала о Сибирцевых. Муж действительно был привязан к этой семье, особенно он любил Сережу. И ей эти четверо детей были близки и дороги. Часто они засиживались у Сибирцевых.

Доктор Краб провел рукой по ее голове и сказал улыбаясь:

— А ты у меня совсем старенькая. Совсем седая...

— Когда-то я дала тебе слово, что поеду с тобой на край света, и поехала. И теперь останусь здесь, на этом самом краю света, столько, сколько ты скажешь. Я всегда была с тобой счастлива и одновременно несчастна. Счастлива оттого, что ты такой, какой есть, и несчастна, что не смогла подарить тебе детей.

— Глупенькая ты, — сказал он ласково и поцеловал ее седую голову.

Вечером доктор Краб и Сашенька зашли к Сибирцевым. Визиты супругов в этот дом были обычными, и поэтому дети всегда встречали их радостным шумом. Они наперебой кричали привычное «барев» и всегда старались сесть поближе к доктору.

После смерти мужа Пелагея Матвеевна не выходила из дома. Дети уже привыкли к тому, что иногда мать вдруг начинает громко плакать, а потом задыхается и падает в обморок. Обычно она быстро приходила в себя и, никому ничего не сказав, принималась возиться по дому. Бывало, она путала имена детей, но они к этому тоже привыкли. С прежней старательностью утром и вечером она доила корову, готовила еду для детей, стирала белье. А когда доктор Краб и Сашенька приходили в гости, Пелагея Матвеевна молча подавала чай и непременно принималась мыть стаканы, даже если они были вымыты.

После чая Сережа попросил Олю уложить спать Сашу и Толю. Оля отправилась выполнять просьбу старшего брата.

— Как жить-то собираетесь дальше, Сережа? — спросил доктор Краб.

— Почему собираемся? Мы и сейчас живем. И дальше будем жить. — Сережа говорил тоном взрослого человека. — Я теперь уже неплохо зарабатываю. Дров всегда сумею заготовить, и даже на три года вперед. С сеном помогут люди. Все дома будет в порядке.

— Это правильно, Сережа, — сказала Сашенька, — все это хорошо. Но ведь одними дровами и сеном не проживешь. Дети растут, нужно покупать одежду, книги, учебники. Пелагее Матвеевне одной будет трудно, если ты уедешь работать в лес... Вот мы и решили вам помочь... Мы даже подумали: может, вместе...

— Нет! — неожиданно закричал Сережа и тут же осекся, опустил голову. — Не надо так. Я вас обоих очень люблю. Я знаю, и отец вас любил. Вы нам как родные. Только, я прошу вас, не говорите так больше. Если мы будем жить вместе, то люди подумают, что Сибирцевы осиротели. Они подумают, что Сибирцевы нищие. Да, мы бедные, но никогда не станем нищими. Не надо, я прошу вас...

* * *

Пелагея Матвеевна любила провожать сына на работу, а он уходил из дома чуть свет. И всегда, когда крупная фигура Сергея скрывалась за высоким забором, она платком вытирала глаза. К двадцати годам сын стал очень походить на отца. Такой же высокий, широкие прямые плечи, такие же серые кудри, спадающие на лоб, и такая же круглая рыжая борода.

Однажды, когда она увидела, как жестом отца сын положил руки на стол, у нее сердце защемило в груди. И до чего же Сережины руки были похожи на Никитовы: та же широкая ладонь, длинные пальцы и резко выделяющиеся жилы. Только у сына они всегда были изранены. Она не знала, что, работая на лесосеке, Сергей часто спотыкался в темноте и всегда норовил упасть на руки.

Сын возвращался домой затемно. Он смело шагал по давно знакомым улицам поселка с высоко поднятой головой, водя палкой по штaketнику. Вот уже полгода, как, возвращаясь с работы, он шел, не видя дороги. Он всегда спешил. Сережа знал, что у самой их калитки его непременно окликнет Маша и сразу у него на душе станет теплее и добрее.

Однажды вечером они долго бродили вдвоем. И когда пришла пора расставаться, Маша сказала, что мать отпускает ее в город, где она будет учиться на медицинскую сестру. Сергей сразу заскучал, и Маша это заметила.

— Всего три года, и еще я буду приезжать на каникулы.

— Да я ничего... Даже рад. Я только боюсь, что тебе одной там трудно будет. Говорят, в городе все чужие друг другу.

— Ты будешь меня ждать?

— Зачем ты спрашиваешь? Я всегда тебя жду. Я люблю тебя видеть во сне. Я раньше тебя сравнивал с небом, а теперь, когда начал работать на рубке леса, уже не сравниваю.

Маша вдруг обвила руками его шею. Он выпрямился, и она повисла в воздухе. Сергей прижал к себе легкое девичье тело, и Маша поцеловала его в губы.

— Ты моя береза, — сказал он шепотом ей на ухо.

— Я люблю тебя, Сережа.

Он провел шершавой рукой по ее лицу, пальцы словно помогали ему лучше разглядеть ее черты. И опять перед ним было веснушчатое лицо худенькой курчавой школьницы с большими голубыми глазами и длинными, загнутыми кверху ресницами.

* * *

По залитой солнцем пыльной поселковой улице шел рослый плечистый мужчина, ведя за руку одетого в новый клетчатый костюм и аккуратно причесанного мальчика с портфелем в руках.

— Ты букварь не забыл? — спросил рослый мужчина.

— Нет, — ответил мальчик, — в портфеле у меня букварь, тетради, цветные карандаши и завтрак.

— Ты должен хорошо учиться.

— Я, когда вырасту, буду рубить лес и возить сено с того берега.

— Ты должен хорошо учиться. И за себя, и за меня.

— А разве ты в школу не ходил?

— Нет, я в школу не ходил. Поэтому ты должен будешь стараться и за себя, и за меня.

— Я буду стараться.

— Ты не забыл, о чем я тебя просил?

— Не забыл. Сразу после школы нарву цветов и отнесу на могилу отца...

* * *

Первое письмо пришло от Маши быстро. Несмотря на топки, река Камчатка была судоходна и в течение нескольких месяцев связывала поселок с внешним миром, а это значит и с областным центром. По реке и пришло письмо Маши.

Письмо читала вслух Оля. Она, как и весь поселок, была в курсе отношений брата и Маши. Не торопясь, четко, она прочла письмо до конца, но через некоторое время Сережа, желая якобы уточнить кое-какие детали, попросил, чтобы сестра вновь

прочла письмо. Ему было неловко перед сестренкой, а то бы он попросил ее читать еще и еще. Ему хотелось слушать без конца.

«Сереза! Родной мой. Я и не знала, не гадала, что так сильно люблю тебя. Мне давно надо было уехать в город, чтобы узнать, как отношусь к тебе. Я часто вспоминаю твои слова. Здесь действительно все чужие. Но ничего. Можно привыкнуть к тому, что люди не здороваются друг с другом, что они на каждом шагу злятся друг на друга. Но нельзя привыкнуть, что тебя нет рядом.

Живу я в общежитии. С одной стороны окна выходят во двор, где находятся корпуса больницы, с другой — на улицу, где с утра до самой ночи ходят машины и спать не дают. Сегодня принесли в класс скелет человека — кости, привязанные друг к другу проволокой. Страшно стало. Учитель сказал, что надо выучить все названия. А для чего они мне? Я думала, научат делать уколы, ставить банки, а тут все по-другому. Я не хочу от тебя скрывать: не по душе мне здесь. И учеба не по душе. Скучно мне без нашего поселка. И без тебя мне скучно. Я так жалею, что мы редко виделись. Очень жалею. Дура была: боялась пересудов. А чего их было бояться, ведь я люблю тебя. И ты меня любишь.

Сереза! Милый мой. Родной мой. Напиши мне: если хочешь, брошу все и приеду. Ты только скажи, и я приеду. Приеду, пока река не встала.

В кино ходила два раза с девочками. По выходным бывают танцы. Тут у нас уже много лет дружат мореходная школа и медицинское училище. И вся их дружба сводится к танцам. Но я не люблю танцы. Здесь и парни не такие, как у нас. Здесь вообще все по-другому.

Сереза! Родной мой! Я буду ждать твоего письма. Ты нисколько не переживай. Я еще перед отъездом договорилась с Олечкой: ты ей будешь диктовать письма, и она будет писать, а потом никому ни слова. Славная девчонка она. Ты только не переживай и не волнуйся. Сестренка твоя сделает все как надо. Я жду с нетерпением твоего письма. Целую тебя крепко. Твоя Береза».

Как ни старался Сергей не обращать внимания на Олю, ничего у него не выходило. Слова, которые он приготовил для Маши, так и не смог выговорить при сестре. Он диктовал Оле сухие фразы, и чувствовал, как у него горят щеки.

«Я бы тебя позвал сейчас же. Но будет ли это справедливо? Будем ли мы правы? Разве плохо, если у нас в поселке появится новая акушерка Машенька. Не так уж много осталось ждать.

Всего трижды встанет река и трижды тронется лед. Так что учись, Маша, а я буду тебя ждать. Я понимаю, трудно твоей матери одной; так что, если с деньгами будет туго, скажи. Сразу же вышлю. Пиши почаще. Будь умницей. Крепко целую, Сергей».

«Крепко целую» Оля прибавила от себя, не сказав об этом брату. Она отнесла письмо на почту, а Сергей, разлегшись на топчане, мучился оттого, что никак не мог схватить какую-то мысль, которая не давала ему покоя. Ему было грустно, и он не мог понять — отчего. Вроде бы безмерно рад Машиному письму, счастлив, что она готова ради него вернуться в поселок, и все-таки, все-таки... Вдруг он облегченно вздохнул. Понял, что давило ему на сердце, упрямо отказываясь облечься в слова. Он вспомнил, как Маша написала, что ходила в кино с девочками и что у них бывают танцы. Сергей никогда в жизни не был на танцах и не очень представлял, что это такое. Картину же он видел только раз в жизни, когда был маленьким, — «Мы из Кронштадта». И помнил ее очень хорошо.

* * *

Прежде чем на новом месте начинать рубить лес, нужно приготовить участок, иначе вырубленный лес станет мешать вывозке. С высоты птичьего полета участок, наверное, напоминает гигантскую сваленную елку. К широкой и длинной дороге-вырубке с двух сторон подходят так называемые усы, по которым и вывозят связанные деревья.

Бригада рубщиков состоит из четырех человек: вальщик (он же, как правило, бригадир), помощник вальщика, чокеровщик, связывающий вырубленные деревья, и тракторист, который тащит по «усам» «вязанку», напоминающую гигантскую метлу. Сергей Сибирцев работал бригадиром-вальщиком. Несколько раз ставился вопрос о пребывании его на лесосеке, и всякий раз ребята отстаивали своего бригадира. Рука у Сергея была крепкой, твердой, и он легко работал с электропилой. Сработались они с помощником, который указывал на нужное дерево, подводил к нему бригадира. Когда Сергей начинал пилить, помощник с противоположной стороны подставлял под ствол длинную рогатину. Сергей по лесу ходил, как по глубокому снегу, высоко поднимая ноги. Ставил ступни на землю осторожно, словно прощупывал ее. «Ус» выходил на широкую поляну, залитую светом, и это было для Сергея постоянным ориентиром в лесу.

Однажды в соседней бригаде тяжелым деревом придавило помощника вальщика. Бригадир кричал на весь лес, звал на помощь

людей. Сергей сразу же бросился на крики. Он бежал, почти не задевая за кусты. Приближаясь к дереву, он чувствовал его всем телом. Сергей первым прибежал к соседям. Узнав, что произошло, он приказал быстро рубить прижатые к земле ветки. А сам подлез у самой верхушки под ствол и подставил под него согнутую спину. Рабочие продолжали рубить ветки. Ощущая тяжесть могучего дерева на спине, Сергей передвигался все ближе и ближе к основанию, не переставая повторять: «Руби!» Вскоре помощника вальщика вытащили из-под широкого ствола. Он был в сознании. Лежал на спине и смотрел на собравшихся, хлопая глазами. Он не мог разговаривать. На вопросы не отвечал. Только потом выяснилось, что у него был перелом семи ребер. Доктор Краб сказал, что еще бы немного — и парень мог погибнуть.

На следующий день в тесной деревянной столовой, где обедали лесорубы, только и говорили о происшествии. Вздох, шумно хвалили Сергея: не он, мол, — был бы парню конец.

Сергей вдруг встал, перешагнул через скамейку и направился к светлomu просвету двери.

— Ты куда? — спросил начальник участка. — Каши еще надо поесть, компоту попить...

— Я не хочу, — сказал Сергей и стал медленно спускаться по деревянной лестнице.

* * *

По многочисленным «усам» бесперебойно текли хлысты на поляну-магистраль, откуда тяжеловесные лесовозы вывозили их на большак. На срезе каждого хлыста в обязательном порядке писали красками три буквы. Три первые буквы фамилий бригадиров. Для учета. Сергей знал об этом. Ему часто казалось, что отец видит, как выходят из лесу ревущие машины, груженные хлыстами, на каждом из которых написано: «Сиб.» — Сибирцев. Сибирь. Отец так гордился своей фамилией!

* * *

Река у Козыревска тихо несла свои воды мимо домов, наполняя воздух свежестью. Она становилась шумной только во время ледохода. Когда трещал лед, разламываясь на мелкие куски и дрейфуя, прозрачные льдины ударялись друг о друга. Жители поселка всегда с нетерпением ждали ледохода. Прошел лед, и начинают ходить по реке суда. Оживает маленький поселковый магазин, на пристани встречают и провожают людей. Самым желанным гостем в домах становится почтальон.

Сергей радовался ледоходу и боялся его. Он боялся лишиться надежды. Почти год не было писем от Маши. Без малого год. И как назло река в прошлом году встала слишком рано, а лед тронулся поздно.

С первой почтой Сергею письма не было. Не было и со второй, с третьей. Ему было совестно встречаться с сестрой, которая мучительно за него переживала. Оля поделилась с матерью, и дом словно наполнился тишиной. Чувствуя это, Сергей старался как можно реже приходить и оставался ночевать в кибитке, в лесу.

К концу лета в поселок пришла весть, которая в тот же миг облетела все дома: Маша вышла замуж. Бросила учебу и вышла замуж. Так она сама написала матери.

Через неделю Сергей вернулся домой. Раз в десять дней он теперь приходил в поселок, чтобы помыться в бане. Ни Пелагея Матвеевна, ни Оля не решались рассказать ему о случившемся. Оля пошла за доктором Крабом, который сам был ошарашен вестью о замужестве Маши. Как ему казалось, он хорошо знал ее, верил в искренность ее отношений с Сергеем.

...Сергей сразу догадался, что доктор Краб никак не решается ему что-то сказать. Такого раньше не было, чтобы разговор между ними не получался, чтобы доктор Краб волновался, перескакивал с пятого на десятое.

— Вы что-то хотите сказать мне, что-то скрываете от меня. И вообще в этом доме, даже в лесу, все от меня что-то скрывают. Я давно уже это чувствую. Что случилось?

— Понимаешь, Сергей...

— Что-нибудь с Машей? Я же чувствую, что все хотят сказать мне что-то о Маше, но не решаются...

— Сергей...

— Что с Машей? — громко перебил парень. — Она жива?

— Она вышла замуж.

Известие это Сергей принял спокойно. Он повернул голову в сторону кухни, где сидели мать и сестра. Затаив дыхание, они слушали его разговор с доктором Крабом.

— Что вы там притаились? — строго спросил Сергей. — Сами не могли мне рассказать? Сделали из доктора, простите меня, козла отпущения.

— Сергей... — начал доктор Краб.

— Да я ничего, — перебил его парень, — ведь ничего такого не произошло. Ну, вышла она замуж. Не умерла же. Она вышла замуж, а я боялся, что умерла.

Не попрощавшись, он вышел из дома.

Почти год Сергей ночевал в кибитке. На лесосеке привыкли к этому, и никто его ни о чем не спрашивал. Только ребята их бригады раз в десять дней в большом казане грели воду и устраивали баню прямо в лесу. Оля приносила брату белье и еду. По выходным дням вместе со старшей сестрой приходили маленькие Сибирцевы: Саша и Толик. Им в лесу всегда было весело.

* * *

У Сибирцевых был праздник. Оля окончила десятилетку. Старый сельский учитель пригласил Сергея в школу на выпускной вечер. Это был первый выпуск в десятилетке, и Старый сельский учитель очень волновался. Об этом дне он мечтал давно. Двенадцать человек в тот день получали аттестаты зрелости. Когда очередь дошла до Оли Сибирцевой, Старый сельский учитель сказал:

— Сегодня праздник. Сегодня праздник для Оли, она окончила школу и получает аттестат зрелости. Можно считать, что вместе с ней окончил школу и получает свой аттестат зрелости Сергей Сибирцев. Через три года закончит школу его младшая сестра, а там и Толя Сибирцев. Весь поселок, вся наша школа радуется, глядя на то, как сын с достоинством заменил отца. Я хочу поздравить Сергея вместе с Олей и поблагодарить его за то, что он создал для нее этот праздник.

Позже Сергей сказал Старому сельскому учителю:

— Вы на меня не сердитесь, но, когда меня так хвалят, мне кажется, что я лежу в гробу. Прошу вас, больше не делайте этого.

— Я понимаю, Сергей. Может, не то я сказал, но уж больно я мечтал об этом дне. Это же мой первый выпуск. Я волновался. Хочу оставить школу. Стар стал. Вон и доктор Краб все удивляется, как мое сердце выдерживает. Может, от волнения не то я сказал.

— Простите меня...

— Мне бы дожить до того дня, когда окончит школу ваш Толя, а тогда и умереть можно.

— Не говорите так, прошу вас.

* * *

Маша вернулась в поселок не одна. С ребенком. На люди не показывалась. Говорили разное. Но объединяла всех какая-то общая неприязнь к ней. Конечно, не она первая, не она последняя. Других в таком положении всегда прощали, даже жалели. А тут ни в какую. «Подло она поступила, — судачили в по-

селке, — не надо было подавать надежду человеку... Такому человеку! Мало того, что судьба его наказала, еще люди на земле добавляют».

Маша даже матери не рассказала всего, что приключилось с ней. Зачем кому-то знать, что она оказалась слабым человеком. Мать сама находила оправдания для дочери, считала, что все произошло потому, что в трудную минуту рядом не оказалось близкого и опытного человека. Маша не спорила с ней. Она знала, что никакой «трудной» минуты не было. Во всем сама виновата, сама. А интересно, случись все по-другому, будь у нее, как говорится, порядочный муж, может, и не было бы в поселке такой ненависти к ней... Нет, Маша понимала, что это еще больше ожесточило бы всех. И как объяснить людям, что она все равно любила и любит Сергея. Скажут: так не бывает, когда любят — не изменяют. «Скажут — я промолчу, — думала Маша. — Я ничего не знаю, ничего не могу ответить. Я только много раз хотела руки на себя наложить, да духу не хватило. Может, и покончила бы со всем этим, не принявшим меня миром, но ребенок помешал. Как мне объяснить людям, что никакого мужа у меня не было? Что все это я придумала? Придумала, и сама поверила. Придумала ради ребенка. Для того чтобы слух дошел до Сергея. Я не должна была возвращаться в поселок. Но выхода не было. Куда девать ребенка? В городе люди чужие друг другу. Здесь меня ненавидят, но все они свои, всех я знаю. Я их даже люблю, может быть, за то, что они меня ненавидят».

* * *

За последние два года Старый сельский учитель трижды проходил длительный курс лечения в городе. Три инфаркта за два года. Врачи советовали уехать на материк, так как камчатский климат с частыми перепадами атмосферного давления был противопоказан больному. Но Старый сельский учитель никуда не собирался уезжать. Родственников у него не было. Всю жизнь собирался жениться, так и не собрался. И потом, просто было бы грешно, как он сам считал, уехать с Камчатки для того, чтобы умереть на материке. Когда-то давно он приехал на полуостров. Думал, на время, так просто — для экзотики. Да задержался без малого на полвека. За это время ни разу не бывал на материке, и не тянуло.

...Старый сельский учитель лежал у себя дома. Иногда выходил во двор. Передвигался медленным шагом. Порой, осмелев, даже навевывался в школу. Он очень гордился ее новым здани-

ем с небольшим актовым залом и просторным спортзалом. Кого бы он ни встречал, непременно предупреждал, чтобы ничего не говорили о нем доктору Крабу. Сам же доктор Краб каждый день являлся к Старому сельскому учителю как на работу.

— Опять был в школе? — строго спрашивал доктор Краб.

— Больше не буду, — тоном провинившегося мальчишки отвечал Старый сельский учитель.

— Как настроение?

— Преотличное. Совсем не чувствую себя больным.

— Это нехорошо.

— Вот тебе раз! Вам, докторам, не угодишь. Плохо себя чувствуешь — плохо, хорошо — опять плохо.

— Это потому, что ты забываешься. Что сегодня в школе делал? Ты персональный пенсионер, а не учитель.

— Я всю жизнь был учителем и буду им до последнего часа. А в школе сегодня был один неприятный инцидент. Прорабатывали мальчишку за то, что он кулаком ударил по лицу свою одноклассницу. Требовали, чтобы он извинился, но мальчишка только огрызнулся.

— Я знаю, о ком ты. Это опять Толик Сибирцев, — вздохнул доктор Краб.

— Мальчик нервный, неуравновешенный. Все оттого, что его вечно баловали.

— Ну и что решили?

— А что они могут решить... Не пойдешь же жаловаться матери, а тем более Сергею.

— Вот как раз Сергею и надо.

— Не знаю, — сказал Старый сельский учитель, — просто обидно за Сергея. Такая нелегкая жизнь ему выпала, столько забот по дому, а тут еще школа расписывается в своей беспомощности. Тяжело. Решили приложить все усилия, постараться исправить мальчика. Но он очень упрямый и запущенный... Ну да ладно, ты лучше скажи, что у тебя нового в больнице?

— А что может быть нового в больнице?

— Ты тут вчера журналчик медицинский забыл, так я его проштудировал.

— И как?

— Послушай, доктор Краб, что же это получается на самом-то деле... Тут черным по белому написано, что все лекарства без исключения и лечат, и калечат. Даже знаменитый аспирин. Как же это понять? И зачем же меня пичкать пилюлями, если доподлинно известно, что они и вред приносят.

— А затем, что больше пользы, чем вреда, — ответил доктор Краб.

— И чего я завел этот разговор... Какая мне разница: день по ту сторону жизни, день — по эту.

— Не нравится мне твое настроение, — сказал доктор Краб.

— Наверно, вы, доктора, не все знаете о человеке.

— Это уж точно.

— Вы не знаете, что человек нередко чувствует свой смертный час. Даже не только чувствует, но и готовится ко встрече с ним. Ты думаешь, зачем я сегодня ходил в школу? Дело у меня было. Я сорок лет кряду, каждый день, хотел сделать то, на что наконец решился сегодня. И тебе я сейчас об этом говорю только потому, что время пришло. За свою жизнь я раз совершил кражу здесь, в поселке, где люди не знают замков. Ты помнишь, я притащил из города в картонных коробках малую Третьяковскую галерею. Целый комплект. Тогда это были первые цветные репродукции. Помнишь, мы их развесили в старой школе по всем классам, а потом перенесли уже малость пожелтевшие листы в новую. Так вот, тогда я украл «Девочку с персиками» Серова. Принес я ее к себе домой и, чтобы никто не догадался, спрятал на шкафу. Временами я доставал ее оттуда и разглядывал удивительное лицо. Тысячу раз я хотел отнести картину в школу, повесить рядом с другими репродукциями, но не мог, ничего не мог поделаться с собой... А вот сегодня я расстался с ней. В последний раз посмотрел на нее, на ее лицо, на ее руки... И что удивительно: только сегодня, впервые за сорок лет, я обратил внимание на персики. Я всегда смотрел в ее глаза и ничего больше не видел. И вдруг... персики. Ты представляешь, я не помню, когда ел персики. Я даже точно не знаю, ел ли когда-нибудь их. Ты, наверно, подумаешь, что старик совсем перед смертью из ума выжил?..

— Заладил... Не слишком ли много говоришь о смерти?

— Нисколько. Всю жизнь говорить о жизни и перед смертью говорить о ней — это скучно. Вот послушай: я смотрю на тебя и думаю обо всех нас. Много лет назад вы с Сашенькой преподавали в моей школе армянский язык вместо другого иностранного, и я, вспоминая про это, радуюсь, потому что сам придумал. Целых три года я из вас делал педагогов, пока не прислали англичанку...

— Которая через год удрала.

— Удрала. Но не в этом дело. Я вот смотрю на тебя и думаю о том, что через месяц будет Новый год. А ты всегда на Новый год

был у нас Дедом Морозом. И опять же это я тебя сделал Дедом Морозом. Я предложил, хотя уже и не помню, когда это было. Я был еще молод, когда меня здесь прозвали Старым сельским учителем. Может, потому, что рано поседел. За эти полвека люди приходили ко мне со всякими вопросами. Считали мудрым. Думали, что я знаю все на свете. Но они даже не догадывались, что этот самый Старый сельский учитель не может отличить персиковое дерево от любого другого фруктового дерева. Я полвека не видел, как цветут яблоны. И теперь уже никогда не увижу...

— Ты можешь рассказывать о чем хочешь, только не говори глупостей, — перебил его доктор Краб.

— Так вот я думаю, — улыбаясь продолжал учитель, — что цивилизация безбожно обкрадывает человечество потому, что из-за своего рационализма лишает умирающих возможности исповедоваться. Я бы еще вчера не осмелился признаться, что во мне сидит фараон. И знаешь, когда я об этом узнал? Когда сельсовет начал строить новую школу. Я помогал строить и знал, что это мой памятник, это моя пирамида. И еще тогда мне приходили в голову мысли, что где-то в коридоре или в учительской будет висеть мой портрет. И помнить будет меня этот поселок по крайней мере пару поколений.

— Почему пару? — улыбаясь спросил доктор Краб.

— Потому что пирамиды остаются, но не все фараоны остаются вместе с ними. Для этого надо иметь особые качества, которых у меня не было. В целом я неудачник. Мне уже никогда не увидеть, как цветут деревья. Мне никогда уже не встретиться с «Девочкой с персиками». Но я был счастлив...

...Той же ночью Старый сельский учитель скончался. Гроб был установлен в спортивном зале школы. Поселок прощался с человеком, который впервые принес в эти края букварь. Сергей Сибирцев стоял у гроба и вспоминал, как отец говорил ему, что от человека остается свет.

До самого кладбища гроб Старого сельского учителя несли на руках. И перед тем как опустить его в могилу, доктор Краб положил на скрещенные руки покойного небольшую выцветшую картинку.

* * *

В предновогодний тихий морозный день, хрустя по жесткому насту, шел домой доктор Краб. Он шел нагнувшись, чтобы не подставлять лицо обжигающему воздуху. Доктор Краб нес с почты фанерный ящик, в котором, как он полагал, находилась

частичка его родного Карабаха, где таких трескучих морозов не бывает.

Он шел домой и вспоминал, как много лет назад, еще до войны, родные прислали ему и Сашеньке посылку: фанерный ящик с дырками. Они открыли ящик и очень расстроились. Дом наполнился кислым запахом. Только по многоцветному месиву, покрытому зеленой пушистой плесенью, можно было догадаться, что в посылке были яблоки, айва, груши и гранаты. Самолеты, даже почтовые, тогда на полуостров не летали, и, шутка ли, ящик с фруктами проделал путь длиной в полгода. Возможно, вначале он путешествовал на осле, потом на грузовике, поезде, пароходе. Отправили его осенью, а прибыл он в зимний Козыревск, когда в Карабахе уже было новое лето.

Та посылка навеки осталась в памяти у доктора Краба. Не все в ней сгнило и не все покрылось зеленой плесенью. В маленьком бязевом свертке лежал темно-коричневого цвета чамич — сушеные ягоды тута, шелковицы. В одном из углов ящика была пристроена тщательно завернутая в ветошь бутылка с деревянной пробкой. Тутовка, конечно. Та самая тутовка, которая, говорят, из стариков делает долгожителей.

Чамич отнесли Сибирцевым. В Карабахе он считается самым любимым лакомством детворы. Сережа и Оля весело уплетали сладкий чамич, отправляя его горстями в рот. А вот старшие Сибирцевы подолгу принюхивались, осторожно пробовали и, кажется, съели по одной или по две ягодки. Но с тех пор у Сибирцевых сушеную морошку и жимолость называли чамичем.

Тутовку распили в доме доктора Краба, когда к нему пришли в гости Никита Сибирцев и Старый сельский учитель.

...Доктор Краб шел по пустынной улице поселка и смеялся. Если бы кто-нибудь его увидел, наверно, сильно бы удивился. Идет по улице в лютый мороз человек и хохочет. Он вспомнил, как у здоровяка Никиты Сибирцева, хватившего стакан тутовки, от неожиданности глаза полезли на лоб. Потом он, кое-как переведа дух, добродушно заулыбался: «Огонь, черт возьми!» — и принялся поспешно закусывать маринованной черемшой. Еще смешнее был Старый сельский учитель. Он тоже залпом осушил стакан, тут же вскочил и встал посреди комнаты с широко открытым ртом. Дыхание перехватило, и он долго не мог вдохнуть воздух. Как он тогда испугался, даже посинел и с удивлением смотрел, как хохочут его друзья. Он умирает, а они хохочут.

Одно было жалко: фрукты не дошли. И тогда доктор Краб сообщил домой, чтобы больше им не присылали ничего. Обидно — ведь портится все в дороге.

...Доктор Краб сам попросил родных прислать немного персиков и чамича. Он знал, что время персиков уже прошло, но подумал, что иногда высоко в горах фрукты поспевают позднее. Письмо написал сразу же, как только ушел от Старого сельского учителя. Прямо на почте. И там же опустил его в ящик. «Сейчас есть самолеты, — думал доктор Краб, — может, и дойдут, если их хорошо упаковать, завернуть каждую штуку в бумагу. Может, хоть один персик дойдет». Он отправил письмо, хотя чувствовал, что посылка не успеет.

Посылка пришла через месяц. Прямо перед самым Новым годом. И вот доктор Краб тащил по морозу фанерный ящик через весь поселок. Дома с нетерпением ждала Сирануш.

Открыли ящик. Тот же кислый запах, то же месиво, та же пушистая зеленая плесень. Чамич уже не в свертке, а в небольшом мешочке. Сушеные ягоды тута — одна к одной.

Новогодний утренник сначала устроили в детском саду. Так было всегда: сначала в детском саду, потом в школе. Детишек было чуть больше двадцати, но шумели, галдели вокруг наряженной елки так, словно в маленьком, хорошо натопленном рубленом домике собралась вся детвора полуострова. Доктор Краб — бессменный Дед Мороз — раздавал раскрасневшимся детям подарки в целлофановых пакетиках. Пакетики просвечивали насквозь. В них были традиционные золотистые мандарины, зеленое яблоко, печенье, плиточка шоколада и несколько конфет, завернутых в красочные бумажки. С удивлением смотрели дети на незнакомые темно-коричневые ягоды, светящиеся в пакете, и потому именно к ним потянулись в первую очередь их маленькие пальцы.

* * *

Дворовые собаки стаями носились по улицам поселка. Важно, словно по команде, они резко останавливались, опрокидывались на спину и начинали купаться в снегу. Они поднимали лапы вверх, переваливались с боку на бок, вскакивали, стряхивали с себя снег, и снова начиналось все сначала. Они срывались с места одновременно и, толкая друг друга, с истошным лаем бросались в другой конец поселка, а там снова начинали купаться в снегу. Глядя на резвящихся собак, каждый понимал, что надвигается пурга.

В тот вечер Пелагея Матвеевна не отходила от окна. Она ждала Анатолия. Ее не покидала тревожная мысль: опять он вернется навеселе. Последние два-три месяца младший сын сильно пристрастился к вину. Уже полгода как он закончил школу, но на работу устраиваться не хотел. Сергей приглашал брата к себе в бригаду, но тот все отнекивался: «Дай чуток передохнуть от дисциплины и режима».

Пурга усиливалась. Временами в окне ничего, кроме черной мглы, не было видно. Пелагея Матвеевна беспокоилась за Анатолия. И потом, надо укрепить защитные решетки. Ей одной не под силу. Иначе к утру все занесет, и невозможно будет пробраться к коровнику.

Анатолий пришел к полуночи. Он шумно ввалился в дом. Весь в снегу, волосы растрепаны. Мать посмотрела на сына и ужаснулась. Впалые щеки, красные глаза, какой-то обзленный взгляд. Даже на мать смотрел зло.

Пелагея Матвеевна ничего не сказала. Она помогла ему снять шубу и предложила поесть. Но сын потребовал водки.

— Смотри, сынок, какая пурга, — сказала мать, — к утру коровник занесет. Весь день потом не докопаешься. А все из-за того, что решетки не установлены...

— Ну и пусть заносит твою жалкую скотину! Зачем нам корова?.. От нее вонь одна... В дерьме только возитесь. Надоело все... Водки лучше дай.

Всю ночь Пелагея Матвеевна не смогла сомкнуть глаз. Она слушала вой пурги и думала о своем покойном муже, о Никите Сибирцеве. Вспоминала, как он радовался рождению второго сына. Как он мечтал вырастить из него настоящего мужчину. Тяжело было ей без Никиты. Одно время чуть было с ума не сошла, да Бог смилостивился, дал ей силы, чтобы вырастить детей. И она отошла. Старший сын заменил в доме отца. А вот младший не получился. Нет в нем ничего от Сибирцевых. Сергея жалко. День и ночь трудился в лесу, только бы дети учились. Чтобы никто не видел Сибирцевых с опущенными головами. Свадьбу отпраздновали двум сестрам. Все мечтал из Анатолия инженера сделать. Покупал ему хорошие вещи. Да и доктор Краб с Сашенькой только и знали что делали ему подарки. Когда они возвращались из района, Анатолий всегда первый спрашивал: «А что мне купили?» Баловали его. С самого детства. Боялись за каждый шаг мальчика. Все лучшее доставалось ему. Отказа не было ни в чем.

Часто, бывало, Пелагея Матвеевна думала про себя: «Вот бы увидел Никита». Но сейчас она боялась этой мысли. Будто и

впрямь он мог встать из могилы и посмотреть на сыновний позор. И она успокаивала себя только одним: он еще молод, еще образумится.

* * *

Сергей любил бродить в ясные лунные ночи. За многие годы слепоты он привык ходить с высоко поднятой головой. Со стороны казалось, что он смотрит в небо, на гигантское полотно, состоящее из тени и света. Его иногда поражало, что человека или дерево рядом он не замечал, а звезду на таком расстоянии видел довольно четко. Луна для него светила так же, как и для других. И, может, поэтому он так любил ясную лунную ночь. В такие моменты он был как все. Зрячий.

Всякий раз, приближаясь к своей калитке, Сергей замедлял шаг. На этом месте много лет назад, вечерами, его ожидала Маша. С тех пор у калитки его охватывал трепет. Ему всегда казалось, что вот-вот раздастся ее голос. Иногда он даже отзывался, до того отчетливо слышался знакомый голос.

Сергей знал, что поселок отвернулся от Маши. Уже прошло много лет, но люди и не думали прощать ее. Ему передавали, что мальчишки кидались в нее снежками и обзывали нехорошими словами, услышав их, наверно, дома от взрослых. Сергей понимал, что в людях говорит скорее жалость к нему, чем ненависть к ней. И это связывало его по рукам. Он ничего не мог предпринять. Понимал, что с Машей поступают несправедливо, но не знал, чем помочь ей. Люди хотели ее судьбу связать с судьбой слепого человека, считая, что кто-то непременно должен был совершить этот, по их мнению, благородный поступок. Сергей всегда находил оправдание для нее. Он любил ее и, может быть, сейчас любил еще сильнее прежнего. Именно поэтому он постоянно искал ей оправдания. Находил, но никому ничего не говорил. Ведь как бы он ни силился, к нему приходили и другие мысли. Верно, никто не вправе заставить ее избирать судьбу не по душе. Но ведь она изменила ему. Пусть они не были ни женаты, ни помолвлены. Но у них были их вечера, которым она изменила. А ему теперь жить только памятью о тех долгих часах, когда они вдвоем бродили по берегу реки и он словно не был слепым. Он видел все. Он видел Машу.

Ему вспоминалось, как звездными ночами он ходил по земле и рисовал яркими красками небо в звездах, деревья, реку с крутым берегом, белоголовый вулкан, вечно курящийся желтым дымом... И на полотне всегда Маша. Он помнил каждый

миг, проведенный с ней. Помнил, может быть, потому, что их было так мало. Помнил, как единственный фильм в своей жизни — «Мы из Кронштадта».

Она не знала, что много лет спустя, когда все в жизни сложится не так, как они мечтали, он с болью в сердце будет смотреть на звезды, которые упрямо напоминали о коротком счастливом прошлом. Единственное, что было ему доступно, — это звезды, но и они вызывали боль.

* * *

— Поговорить надо, Толя, — сказал Сергей.

— О чем?

— О том, что мы с тобой Сибирцевы. Нас на этом свете осталось двое. Оля и Саша вышли замуж, они теперь не в счет...

— Поговорим, если наша фамилия может быть причиной для разговора. Интересно, а что, если мы были бы, скажем, Сгибовы, как наши соседи?

— Что ж, и тогда нужно было бы поговорить! Тогда, наверное, мне дорога была бы другая фамилия. Но мы Сибирцевы. Это фамилия нашего отца. Нашего деда.

— Ты, Сергей, лучше разговор свой начинай, чтобы побыстрее закончить.

— Разговор я уже начал...

— А что, собственно, произошло? — недовольно спросил Анатолий.

— Ничего. Ты много пьешь, и это может плохо кончиться.

— Плохо для меня, а не для тебя.

— Ты — Сибирцев.

— Надоело. Оставь все это. Я пью не больше других.

— Надо устраиваться на работу.

— Нет для меня здесь работы. Охотник из меня не выйдет. А в лесу, не дурак, не собираюсь вкалывать. Мне жить хочется как человеку, а не как зверю.

— Выходит, я зверь...

— Ладно, не лови меня на слове. Ты бы лучше спирту налил, голова трещит.

— Жить как человек, это, по-твоему, пить водку и гулять? Где же ты деньги возьмешь?

— Давай, давай... То мать надоедала, теперь ты начал. Уйду я скоро от вас. Заработаю побольше вашего. Ты вон неделями ишачишь в лесу, а я знаю людей, которые палец о палец не ударят и деньги за мусор считают.

— Где ты у нас таких людей встречал?

— А они не дураки, чтобы здесь жить. Уеду я. Для начала поступлю в мореходку. Уже с друзьями договорился. Говорят, дипломированные рыбаки деньги лопатами гребут. Уеду. Только подальше от этого поселка. Осточертело все. Надоело.

— Толя, — тихо сказал Сергей, — когда ты в последний раз был на кладбище?

— И это тоже надоело. Заладили: кладбище, кладбище. Все это, если хочешь знать, слюнявая игра в добропорядочность. О живых надо думать, а не о мертвых. Мертвые как-нибудь без нас, без нашего внимания проживут. И вообще, кому нужно кладбище?

— Там могила нашего отца.

— Ну и что теперь делать?

— Помнить о нем.

— Короче, хочешь знать, когда я там был? Давно, еще в тот день, когда я пошел в школу. Я тогда нарвал ромашек и по дороге выбросил. Не хотелось мне на кладбище. Ты понимаешь, не хотелось! Десять лет прошло, а как сейчас помню: не хотелось. И сейчас не хочется.

— Злой ты, Толя.

— Будешь злой, когда каждый на тебя пальцем показывает. Сами живут как звери лесные и хотят, чтобы я тоже как все. А может, у меня в душе другое... Может, планы у меня другие...

— Вот давай о планах твоих и поговорим. Ты же еще пацан. Ну, дурь наехала. Все это пройдет. Если серьезно задумал учиться — давай учись. Я тебе помогу. Теперь нам куда легче. Сестры замужем, живут хорошо. Так что помогу я тебе. Учись. Становись человеком.

— Ладно, брат. Стану я человеком. Уеду через неделю и стану человеком. Только давай кончим этот трезвый разговор, а то голова разламывается.

* * *

Сергей редко ночевал дома. Если по делам и приходил в поселок, то обычно вечером возвращался в лес. Так было спокойнее. К полуночи доходил до кибитки и ложился спать. После разговора с братом Сергей отправился в лес, но по дороге решил зайти к доктору Крабу. Дома была только Сашенька.

— Что-нибудь случилось, Сережа? — спросила Сашенька, усаживая его за стол.

— Не знаю, как и сказать. Ничего такого вроде бы не случилось, но многого я не могу понять.

— О чем это ты, Сережа? Что-то я никак в толк не возьму.

— Об Анатолии я. Все вышло не так, как хотелось бы. Знаете, я боюсь одной мысли. Боюсь, не так меня поймут, потому что сам я не учился. Я вот думаю, всем ли нужна школа? Ведь Толя проучился десять лет и вышел — звереныш. Может, если бы не учился, не стал бы таким? Выучился, и уже ему кажется, что другие живут глупо. Я вот думаю, может, ему и не надо было вовсе учиться? А с другой стороны, как заранее определишь, кому учеба пойдет впрок, а кому нет...

— По-моему, Сережа, тут все дело в водке. Она-то и вызывает у парня из самых глубин все скверное, все злое. Водка ведь зараза несусветная.

— Чего же эта зараза к нему непременно должна была прилипнуть, да еще так рано...

— Да ведь болезнь, она никогда не различает ни возраста, ни адреса. И потом, конечно, дело не только в водке. Все мы виноваты. С детства в Толике воспитали какую-то вседозволенность. Рос здоровым парнем, а мы все прощали ему, жалели.

— Вот и мать так говорит. А я не могу понять ничего. Что же это получается: любишь, ласкаешь, бережешь, хочешь, чтобы было хорошо, а в конце получаем зло, измену...

— Ничего не поделаешь, Сережа. И так бывает. Доброты тоже должно быть в меру.

— Не знаю я, что это за мера такая, — сказал Сергей. — Выходит, счастьем надо пользоваться в меру. А как горе, так — сколько угодно, всё, мол, вынесет человек. Несправедливо это... Молокосос еще, а уже пьяница. И злой такой. Говорит, кладбище — это игра в добропорядочность. Хочет в город уехать, на рыбака учиться.

— Что ж. Может, и неплохо, что он уедет. Здесь ему нельзя оставаться. Подобралась компания — все пьющие. Знаешь, раньше такого у нас не было. Пусть уедет. Парень он смысленный. Учиться сможет. Там дисциплина есть. Может, еще выправится.

— Может быть.

* * *

Сначала залаяли собаки. Все собаки в поселке. Скорее, не залаяли, а завывали как волки. Потом послышался далекий гул, который быстро приближался.

Сергей и Пелагея Матвеевна проснулись одновременно, как и другие жители Козыревска.

— Трясет, — спокойно сказал Сергей, как будто речь шла о дожде или пурге.

— Что-то долго, — добавила Пелагея Матвеевна, настороженно прислушиваясь к дребезжанию посуды и нарастающему далекому гулу.

Однако мать и сын остались лежать в своих постелях, надеясь, по привычке, что землетрясение скоро кончится. «И правда долго, — подумал про себя Сергей, — как бы чего не натворил Ключевской. Дом ходуном ходит. Того и гляди потолок рухнет». Вдруг раздался сильный грохот, на мгновение засветились окна. Сергей услышал треск, и с потолка посыпалась штукатурка. Он вскочил и бросился к матери. Легко поднял ее на руки и в крошечной тьме вынес на улицу. Мать прижалась к сыну, повела щекой по его бороде и сказала, тихо улыбаясь в темноте:

— Отпусти меня, Сережа, надорвешься тащить такую тушу. Отец твой говорил, что дом наш тысячу лет простоит. Так что ничего не случится.

Сергей не ошибся. Действительно, заработал Ключевской вулкан. Извержение произошло посреди ночи, выбрасывая в черное небо красные глыбы вулканических бомб. До утра светила вершина сопки, и до утра не спал Козыревск. Всем хотелось посмотреть на живое солнце.

Когда немного утихло, страсти утихомирились, Сергей решил пройтись по поселку.

— Ты куда это? — спросила мать. — Ты же сказал, что завтра у тебя выходной. Ночь на улице.

— Я так, мать. Пройтись хочется, — сказал Сергей, и ему показалось, что мать догадывается о его намерении.

Сергей спешил узнать, как дела у Маши. Как их дом. Не случилась ли беда. Дом у них не такой крепкий, как у Сибирцевых.

Он шел по ночным улицам поселка без палки. На светлом летнем небе мерцали большие звезды. Черный треугольник Ключевского вулкана, словно фантастический маяк, высвечивал часть небосвода, то темнея, то заливая восток кроваво-красным светом. Сергей чувствовал себя уверенно. Он хорошо ориентировался.

В поселке было шумно, как днем. Дети громко смеялись, женщины, перебивая друг друга, рассказывали про первые минуты землетрясения — рассказывали и хохотали. Мужчины, собравшись группами, курили. Лаяли собаки.

Сергей подошел к Машиному дому. Остановился. Прижался к забору. Из окна доносился детский смех. «Значит, все в порядке», — подумал он и с чувством облегчения зашагал дальше.

* * *

К концу лета, в свежий августовский вечер, вернувшись из леса, Сергей узнал радостную весть: Анатолий, единственный из его поселковых друзей, поехавших в город, поступил в мореходное училище. Все близкие собрались у Сибирцевых. Пришли, как всегда, доктор Краб и акушерка Сашенька. Пелагея Матвеевна, хлопоча возле стола, то и дело возбужденно повторяла: «Вот бы узнал об этом отец!» Она говорила и никак не могла сдерживать слезы. А когда Сергей, подражая отцовским интонациям, сказал: «Ты, мать, опять разводишь сырость на всю Камчатку», — она разрыдалась. Чтоб успокоить ее, Сергей сказал в наступившей тишине:

— Ничего, мать. Узнает отец о своем младшем сыне. Мне доктор Краб рассказывал, что у них на родине есть такой обычай: когда человеку очень плохо, он идет на кладбище; когда очень хорошо — тоже идет туда. Сейчас нам очень хорошо, и я завтра схожу к отцу. Расскажу ему.

Настроение у всех было приподнятое. Пелагея Матвеевна и две ее дочери только и успевали, что бегать на кухню за новыми блюдами. Под общий хохот Оля принесла доктору Крабу в большой глубокой тарелке вареного краба. Всякий раз, когда доктору подавали это блюдо, которое он, кстати, очень любил, все дружно хохотали. А если кто-нибудь в поселке справлял свадьбу, непременно ездили в Усть-Камчатск, чтобы специально для доктора привезти крабов. Это, наверное, единственное блюдо в мире, которое едят ножницами. Доктор Краб ловко разрезал колючий панцирь, извлекая сочные куски белого мяса, а по очереди раздавал всем сидящим за столом. Зная, как он это любит делать, хозяйева всегда варили много крабов.

— Как видишь, Сережа, напрасны были наши опасения, — сказала акушерка Сашенька, выбрав удобный момент.

— Выходит, напрасно. Только вот, чего скрывать, на душе у меня беспокойно. Никак не могу забыть про нашу с ним беседу.

Анатолий писал письма довольно часто, и все на имя Сергея. В каждом письме он так или иначе упоминал о деньгах. Сергей не знал, что брат находится на полном государственном обеспечении, и регулярно посылал ему деньги. Он только про-

сил, чтобы Анатолий всегда сообщал об их получении. «Благо, сейчас самолеты летают и не надо ждать почты только после того, как лед тронется», — говорил он сестрам.

И поэтому, когда однажды месяца полтора от Анатолия ничего не было, у Сибирцевых забеспокоились не на шутку. Дважды за это время ему посылали денег, но ни слова в ответ не получили. И вдруг деньги вернулись обратно. Думали разное. Пелагея Матвеевна места себе не находила, потеряла покой. Чтобы хоть как-то ее успокоить, дочери при ней составили текст телеграммы на имя начальника училища.

Вскоре пришло официальное письмо. Сергей был на лесосеке. Письмо распечатала Оля. Сначала она пробежала его глазами, а потом, вяло опустив руки, села на край табуретки. Пелагея Матвеевна испуганно, широко открытыми глазами смотрела на дочь. Ей казалось, что она громко кричит: «Что с Толей?» Но дочь молчала.

Наконец Оля вышла из оцепенения и тихо, одними только губами прошептала:

- Толика посадили. На три года.
- За что? — громко вырвалось у Пелагеи Матвеевны.
- Пьяный был... Ударил человека ножом, — тихо сказала

Оля.

Как ни хотели Сибирцевы скрыть худую весть от поселка, им это не удалось. Договорились между собой сохранить семейную тайну, да, видать, проболтались. И теперь, чтобы приостановить поток домыслов, каждому встречному честно рассказывали о случившемся.

Пелагея Матвеевна, казалось, забыла обо всем на свете. Она говорила только об Анатолии. Вязала для него носки. Рыбу специально солила густо, чтобы не портилась в посылке за долгую дорогу на материк. Ей, никогда не выезжавшей из Козыревска, всегда казалось, что остальной мир мало чем отличается от родного поселка. Когда, к примеру, шел дождь, она была уверена, что он идет везде и всюду. Вот и сейчас, во время сильной пурги, она ходила по дому из угла в угол и спрашивала вслух: «Как там ему, моему Анатолию? Как он переносит эту злую пургу в неволе?»

При Сергее родные старались не говорить о Толе. И поэтому обычно, когда старший брат находился дома, сестры, поболтав о разном или вдоволь помолчав, уходили со своими детьми к себе, и, как всегда, оставались вдвоем Пелагея Матвеевна и Сергей.

— Ты бы ему написал, — сказала как-то мать, осмелившись, — все же брат. Сам понимаешь, каково ему сейчас там. Напиши. Успокой, Сереженька.

— Хорошо, мать, напишем завтра с Олей. Я понимаю, ему сейчас нелегко.

* * *

С тех пор как стали регулярно летать самолеты Ан-2, «Ан-нушки», поселок зажил новой, какой-то быстрой жизнью. Даже дома строились намного быстрее, чем раньше. Особенно непривычно старожилам было видеть, как почтальон ежедневно разносит по домам письма и газеты.

Ответ Анатолия на письмо Сергея пришел скоро. Читали в узком семейном кругу. Все уселись за чистый стол, покрытый цветастой клеенкой, и молча слушали, как Оля читает:

— «Дорогой мой брат Сергей. Я пишу персонально тебе и поэтому обращаюсь только к тебе. Вот пошел уже третий год моей отсидки, и за это время впервые получил от тебя письмо. Спасибо, что не забыл. Я понимаю, сам ты писать не можешь и поэтому так долго собирался привлечь для этого дела кого-нибудь из сестер. Так что я на тебя не в обиде. Ты не думай, что твой брат настоящий дуб стоеросовый и не понимает, что посылки и деньги, которые мне шлют из дома, все это благодаря тебе. Но мне твое письмо дороже всего во сто крат. Мне нужно человеческое внимание. Нет ничего на свете ценнее человеческого достоинства. Я тут, брат, многому научился. Ты не думай, что раз попал сюда, значит, все остальное побоку. Я здесь столько книг прочел, что другому и вовек не приснится. Звания профессора, конечно, не получу, но поспорить с любимым всегда готов.

Не скрою, я о тебе часто думаю. Ты просто молодец. Всех на ноги поставил. Иногда мне даже обидно за тебя. Ты всю жизнь трудишься и не знаешь, что есть на свете и другая жизнь. Есть рестораны, есть пляжи, есть красивые девушки. Так уж получилось, что все это тебе недоступно. Но вот я спрашиваю тебя: почему же и я должен быть лишен всего этого? Чем я хуже других? Ты пишешь, чтобы я вел себя хорошо. А сам ты знаешь, что такое вести себя хорошо? Здесь, где я сейчас, это значит — всегда молчать. Молчать, когда видишь, как сильный издевается над слабым. Молчать, когда тебя оскорбляют. Вести себя хорошо — это значит улыбаться человеку в лицо, хотя ты точно знаешь, что он подонок, сидеть за одним столом с человеком, если даже тебе доподлинно известно, что он шкурник.

Ты даешь мне советы, даже не подозревая о волчьем мире, в котором мне приходится жить. Не все такие добрые, как ты. Человек думает об одном: как бы урвать себе побольше. Весь мир — туша, а люди — ножи. Вот каждый и стремится отхватить кусок побольше. Пусть даже от этого подохнет другой человек. Закон джунглей это называется. И если раньше в этом подлунном мире главным принципом жизни считался: «Живи и дай жить другим», — то теперь так уже не годится. Теперь, если дашь жить другому, он тебя сожрет.

Есть люди, сила которых держится на обмане. В основном они обманывают таких доверчивых, как ты, мой брат. Ты ишачишь с утра до вечера. Сестры пишут, что твой портрет повесили на доску Почета. А другие пожинают твой труд. Их портреты не вывешивают на улице, но они пьют в ресторане дорогой коньяк и закусывают ананасами, которые тебе и не приснятся никогда. Это, брат мой, еще можно стерпеть. Самое страшное, когда они таких, как ты, называют дураками. Это за то, что ты всю жизнь вкалываешь.

А я не хочу, чтобы меня называли дураком. Я за одно это слово могу кому угодно горло перегрызть. Ничего нет оскорбительнее. И для этого мне надо не так уж много — деньги. И что иногда для расслабухи забыться, нужно пить. Напиться. Это единственное состояние, когда человек бывает самим собой.

Я тебя глубоко уважаю, брат мой. И за тебя жизнь могу отдать в любую секунду. Но советы твои не приемлю. Таких советов я в книгах начитался навалом. Не для того я пришел в этот мир, чтобы прозябать.

Ребята тут в восторге от нашей соленой горбуши. Организуй еще посылочку. И потом: денег не мешало бы. Как-никак скоро на волю. А без денег до дома не доберешься. Привет передай матери. Скажи, пусть не переживает. Скажи, здоров он как бык, только стали появляться седые волосы. Привет передай и сестрам нашим. Я уже убедился, что в этом мире без сестер еще хуже было бы. Ну и доктору Крабу не забудь «баревнер» передать. Когда я окончил школу, доктор Краб сказал, что теперь передо мной все двери открыты. Он оказался прав. Только двери бывают разные: в одну сторону открываются, а в другую — никак.

Вот, пожалуй, и всё. Прости, если что не так. Просто растебил ты мне душу, вот и прорвало, поделился кое-какими мыслями. Нас каждый день водят в город на работу. Там и отправлю письмо. Береги себя, брат мой. Чего там говорить, в

этой жизни невозможно без таких добродетельных, как ты. Твой брат Анатолий».

Оля кончила читать, но Сибирцевы продолжали молча сидеть за столом. Пелагея Матвеевна из всего письма уловила только то, что младший сын хорошо отзывается о сестрах и о брате. И это ее радовало. У нее даже поднялось настроение. Заблестели глаза. Менее оптимистично были настроены дочери и сын.

— Господи! Что же это такое? — нарушила молчание Саша. — Что случилось с нашим Толей?

— Ничего не случилось, — резко сказала Оля, — он такой и был. Только теперь еще нахватался, начитался и вконец обнаглел.

Сергей в разговор не вмешивался. Он встал и молча направился к выходу. Когда Саша вскочила, чтобы помочь ему, он резко сказал: «Не надо! Я сам».

Как только за ним закрылась дверь, женщины хором заговорили, перебивая друг друга. Мать не понимала дочерей. Не понимала, отчего они так разошлись. Отчего Сергей, ничего не сказав, хмурый и злой, ушел на улицу. Она только вздыхала: «Сынок мой поседел».

* * *

Сергей шел знакомой с детства тропой, повторяющей изгибы реки. Он уже не мог представить свою жизнь без работы в лесу, без ставшей домом кибитки, которую перетаскивал трактор каждый раз, когда меняли участок лесозаготовки. Он всегда торопливо шел к кибитке, словно там кто ждал его.

Сергей то и дело вспоминал письмо Анатолия. Тяжелой болью оно легло ему на сердце. Во многом письмо было ему непонятным. В мыслях брата звучало что-то чудовищное, звериное.

Весь день Сергей не расставался с электропилой. Его помощник, как всегда, подводил его к нужному дереву и, как только бригадир начинал пилить, отходил в сторону, чтобы поддержать длинной рогатиной ствол. Много лет они работали вместе, и не было случая, чтобы дерево упало не в том направлении, в каком им было нужно. С наступлением темноты работать в лесу запрещалось, но бригада Сибирцева ухитрялась порой задерживаться допоздна.

В тот день с вечерней машиной, которая прикатила за рабочими, приехала и Саша.

— Вот, мать тебе еды прислала, — неласково сказала она брату. — Уходишь и даже не скажешь ничего. Мать же волнуется.

— Чего волноваться? Пора уж привыкнуть. Другой-то дороги у меня нет. Только в лес. Чего волноваться?

— А у Маши сын в тяжелом положении. Болеет. Доктор Краб говорит: опасно. — Саша сказала об этом как бы между делом, уже собираясь уходить.

— А почему ты мне об этом говоришь? — спросил Сергей после недолгого молчания.

— Так просто. Об этом сейчас весь поселок знает. Ну, я пошла, а то машина уедет и придется топтать десять километров пешком.

Ушла из лесу последняя машина с рабочими. Сергей остался один. Он лежал в кибитке на деревянном топчане, который был ему и узок, и короток. Впервые за многие годы он почувствовал, как неудобно на нем лежать. Сергей то садился, то вновь ложился, то выходил на улицу и прогуливался возле кибитки. Ему не спалось. В его присутствии давно не произносили имени Маши. Сестра сказала, что ребенок у нее опасно болен. Значит, сейчас Маше тяжело. Она живет одна со старухой матерью. Мальчику сейчас, наверное, лет десять. Он, может быть, такой же голубоглазый, как мать, и такой же кудрявый. Говорят, мальчишки прозвали его Бесфамильным. А сейчас он опасно болен. И Маше тяжело.

Думая обо всем этом, Сергей не заметил, что он уже давно шагает вдоль реки по тропинке, ведущей в поселок.

Он спешил к Маше, торопя тропинку. Ему казалось, что сейчас он может им помочь. Сергей шел широкими шагами, почти не касаясь палкой земли. Рядом была ровная автомобильная дорога, но он не любил ее, боялся, даже опасался новой дороги. Другое дело — тропинка, по которой ходили его деды, ходил отец, ходил и он сам в детстве, когда еще так светло было кругом. Для Сергея тропинка была живым существом. С годами она стала его частицей, он — частицей ее. На ней он чувствовал себя уверенным, зрячим.

Приход Сергея в поселок был встречен сначала одиноким лаем собаки в ночной тишине, а затем звонкой переключкой сонных дворняг. Он вышел на пустынную темную улицу. Не замедляя шага, добрался до Машиного дома. У калитки остановился как вкопанный. Сердце сильно колотилось в груди.

Свет в окне не горел, как, впрочем, не горел он нигде в поселке. Сергей постоял некоторое время у калитки, потом подошел к окну и стал прислушиваться. «Спят, — подумал он, —

значит, все в порядке». И все-таки он не мог вернуться в лес, ничего не узнав о ребенке. Он решил пойти к доктору Крабу.

Дверь открыла акушерка Сашенька. На ходу застегивая халат, она помогла Сергею пройти в комнату.

— И когда по ночам будут свет давать? — сказала она, зажигая керосиновую лампу.

— Доктор Краб спит? — спросил Сергей, чувствуя себя неловко.

— Нет, я не сплю, Сережа, — раздался голос из другой комнаты, — я сейчас.

— Барев, доктор Краб, — сказал Сергей, и все трое рассмеялись.

— Как дома, как дети? — спросил доктор Краб, входя в комнату. — Я по привычке всё их детьми зову. Что пишет Анатолий?

— Да написал он мне одно письмо. Не пойму я его. Словно и не брат родной. Да что там брат, будто не из нашего поселка он.

— А что он такое написал? — спросила Сашенька.

— Понять его трудно. Он хочет жить полегче и для этого себе даже закон такой придумал: самому жить, а другим не давать, чтобы, мол, тебя не сожрали.

— Это он уже там, в тюрьме, приобрел, — сказал доктор Краб. — А скоро его выпустят?

— Скоро. Через пару месяцев, а может, чуть больше. Одним словом, скоро. Возьму его к себе в лес, может, что и получится.

— Парень он смысленный, — вздохнула Сашенька. — Вот если бы отучить его от водки...

— Да что это мы заговорили об Анатолии, — сказал Сергей, — Бог с ним. И без него у вас хлопот много. Я что давно хотел спросить... Как же это получается? Вы ведь так и не поехали к себе на родину, и я знаю — из-за нас. Мне мать говорила, что и Сашенька стала седеая, и доктор Краб постарел...

— Ну, так-таки и постарел, — перебил его доктор Краб, — я еще хоть куда. И волосы ничуть не седые, не то что у Сашеньки.

— Я всегда думаю об этом: люди из-за нас остались здесь и теперь не уезжают...

— Тут ведь, Сергей, дело не только в вас. Приросли мы с Сирануш к этому краю. Он стал нам родным, как наш Карабах. Ты не переживай. Вовсе и не из-за вас мы остались здесь. И потом, скоро мы так или иначе уедем. Сирануш сейчас часто хворает.

— А разве доктора болеют?

— Болеют, как все. Только об этом никто не знает.

— А чем болен Машин ребенок? — Сергей опустил голову, стараясь скрыть неожиданно нахлынувшее волнение.

— Болел он тяжело, — сказал доктор Краб, — но сейчас ему лучше. Он лежит в больнице. И Маша там с ним. Теперь уже совсем хорошо. Воспаление легких у него. Через пару дней выпишем.

— Маша часто спрашивает о тебе, Сергей, — сказала Сашенька.

— Ну, я пошел, — заторопился Сергей, делая вид, что не слышал последних слов, — мне еще на лесосеку нужно поспеть к утру.

На востоке, где Ключевской вулкан закрывал полнеба, звезд не было видно. Горизонт задолго готовился к рождению солнца, и потому он был чуть светлее, чем все вокруг. Сергей вновь стал частицей тропинки. Он был счастлив. И тропинка была счастлива. Он спешил на работу. И тропинка ему помогала.

* * *

Анатолий вернулся в поселок в начале лета. Он был коротко острижен и одет во все новое. В первый день Пелагея Матвеевна не отпускала сына от себя. «Дай мне наглядеться на тебя, сынок. Я столько слез выплакала, на тридцать лет постарела за эти три года».

Сибирцевы в честь такого события решили позвать гостей. Правда, Сергей отговаривал мать: «Брат же не из армии вернулся и не на каникулы студенческие приехал». Но Пелагея Матвеевна настояла на своем: «Что подумают люди? Ведь все равно радость. Сын вернулся домой».

Вечером у Сибирцевых собралось много народу. Пили, ели, веселились. Об Анатолии говорили миролюбиво: «С каждым может случиться», «От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь», «Молодость всегда шальная — образумится», «Все еще впереди», «Кто старое помянет — тому глаз вон». В этот вечер сообщено было решено, что Анатолий немного отдохнет и пойдет работать к Сергею: лесозаготовители много зарабатывают.

Гости сидели допоздна. Громко пели песни, громко смеялись. Они продолжали веселиться, а Анатолий потихоньку ускользнул из дому. Хотелось побыстрее встретиться с друзьями. Родные и близкие нагоняли на него скуку.

Анатолий не вернулся до утра. Разошлись давно гости. Сергей отправился в лес на работу. Сестры ушли домой, обещав матери утром прийти и помочь прибраться. А Анатолия все не было. Накинув оленью кухлянку, Пелагея Матвеевна ждала сына на улице.

Вернулся Анатолий, когда стало уже светло. Он был бледный, с красными глазами, качался из стороны в сторону.

— Ты где так задержался? — спросила Пелагея Матвеевна ласково, как-то даже виновато.

— Начинается! — буркнул Анатолий. — Не дави, мать, на меня. Я соскучился по свободе.

— Ладно, сынок, ладно. Пойдем домой, поспишь. Отдохнешь. Устал ты с дороги.

— Я, мать, от стадности устал, а не с дороги.

— Хорошо, сынок, хорошо, — сказала Пелагея Матвеевна, хотя и не поняла, от чего именно он устал.

Ведя под руку пьяного сына и качаясь вместе с ним, она повела его домой.

Проснулся Анатолий после полудня. На столе его ждал завтрак: жареный голец, пельмени, соленая чавыча с луком, мясная тушенка, красная икра. Анатолий наскоро обдал лицо холодной водой. Подошел к столу и, захлопав в ладоши, громко произнес:

— Мать, водки не вижу.

— Может, хватит, сынок... Не пей ты ее, проклятую. Тебе нельзя.

— О чем ты говоришь, мать? Такой стол портить! Да, может, я три года только мечтал об этом: встать с койки, когда вздумается, сесть за стол и без чавкающих рядом зеков принять такую царскую пищу. Как же, мать, можно без водки. Грешно без водки. Давай, давай, неси.

Пелагея Матвеевна вначале даже улыбнулась тому, как складно говорит сын, а потом, сгорбившись, вышла на кухню. Вскоре она вернулась с початой бутылкой спирта.

Анатолий залпом выпил стакан, поморщился несколько нарочито и начал с охотой есть. Мать сидела напротив и смотрела на сына добрыми прищуренными глазами. Анатолий был весел, разговорчив. Он ел, расхваливая блюда. Пил с какой-то жадностью. И по мере того как пьянел, бледнело его лицо. Пелагее Матвеевне становилось все грустнее и тягостнее. На ее глазах за каких-нибудь полчаса сын преобразился и перестал походить на самого себя. Впервые он показался матери некрасивым.

Принимая Анатолия на работу, начальник участка сказал:

— Вот и хорошо. Теперь у нас будет двое Сибирцевых. А если в будущем и младший станет бригадиром, то придется на хлыстах писать заодно и имена тоже.

Анатолия устроили чокировщиком. Работа не требовала особой сноровки, но была не из легких. Надо успевать зацеплять за хлысты цепями. Нередко приходится приподнимать тяжелый ствол, чтобы занести под него цепь. Немалых трудов стоило Анатолию успевать за уже сработавшимся коллективом. Но он старался.

Обедали все вместе в кибитке. Обычно после еды оставалось минут двадцать-тридцать на перекур. За неделю работы Сибирцева-младшего никто не видел братьев вместе. Бригады были разные. Ну а главное — после обеда обычно рабочие делились на две группы: на курящих и некурящих. Анатолий был заядлым курильщиком, в то время как Сергей не переносил табачного дыма. И поэтому, когда братья вдруг стали прогуливаться вдвоем, всем это бросилось в глаза. Сергей держал брата под руку. Оба рослые, здоровые.

— Мне сказали, что ты очень стараешься, — начал разговор Сергей.

— Денег хочу заработать. И потом, я из-за тебя стараюсь.

— Почему из-за меня?

— Ты тут фантастическим уважением пользуешься, прямо как капитан на судне. Вот я и стараюсь, не хочу тебя подводить.

— Это неплохо. Я бы хотел, чтобы ты берег честь нашей фамилии.

— Неплохо. Только, скажу я тебе, через силу все это у меня получается. Противно мне здесь. Все противно.

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Люди здесь как медведи. С утра до вечера в лесу. Я вкальваю, а сам думаю о том, как где-то чистенькие мальчики с чистенькими девочками сидят в ресторане и в густом дыму пьют коньяк, слушают музыку. Вот какие я вещи видел там, в городе.

— Ты об этом уже писал.

— Я не помню, что писал. Жизнь проходит — вот что я помню всегда. Ты знаешь, я тут присмотрелся к работягам и думаю: лучшего места им не найти, лучшей доли им не надо. Они все лесные люди. И ты, брат, тоже лесной человек.

— Что поделаешь, кому-то, наверно, нужно и в лесу работать. Я никогда не был в ресторанах и не знаю даже, как они выглядят. Но вот что я думаю: ведь люди все равно не разместятся в этих ресторанах. Так что кто-то всегда должен остаться за дверями. Не пойму тебя, Толя. Что у тебя в голове?

— В город податься — вот что у меня в голове. Поднакопить немного. Попросить у тебя малость и податься в город.

— Ты уже раз подавался.

— Давай, давай... Это, значит, только по пьянке говорили: «Кто старое помянет...»

— А я не упрекаю тебя, Анатолий. Я тут за три года напереживался досыта. Все думал — как ты там. Даже во сне тебя видел, и снился ты мне обычно маленьким. А сейчас ты похож на отца. Я не упрекаю. Просто я боюсь за тебя. Вижу, что в город стремишься не для дела. Пьяный ты звереешь, глупеешь. Вот я и волнуюсь.

— Я тебя, Сергей, люблю и уважаю. Ты мне не только брат. Ты мне всегда и вместо отца был. Но мы с тобой разные. Ты вон считаешь, что кто-то может остаться за ресторанными дверями, что кому-то интересно в лесу работать. Я так не считаю. Почему мне оставаться за дверями? Почему сотни людей могут там веселиться, а я должен спину гнуть за них? Да если хочешь знать, я в этой жизни за двоих должен гулять. За себя и за тебя тоже. Тебе не повезло, но почему и я должен быть лишен всего? Может, я рожден совсем для другого...

— Для чего для другого?

— Для другой жизни. Человек рождается для того, чтобы проявлять свои способности.

— А если нет особых способностей?

— Тогда он должен работать в лесу... Ты только не обижайся, тебя это не касается...

— Нет, почему, — перебил брата Сергей, — и меня тоже касается. А ты-то в себе чувствуешь такие способности?

— Скажу честно: чувствую. Ты вон поговори со своими работягами. Спроси: кто из них хочет жить в городе, кто хочет иметь машину, водить девочек в ресторан? Они только удивятся. Потому что для осуществления такой мечты нужно иметь способности. Я же мечтаю жить в городе, жить широко, и, наверно, мечтаю не случайно. Чувствую, что мне по силам иная жизнь. Нужны только деньги! Только с деньгами человек чувствует себя человеком.

— Насчет денег ты прав, — сказал Сергей, — я всю жизнь зарабатывал их для того, чтобы дома у нас был достаток, чтобы

вы не были ничем обделены. И от этого всегда чувствовал себя человеком...

* * *

Пелагея Матвеевна заболела: у нее был сердечный приступ. Вначале думала, что пройдет, как всегда проходило, но потом, когда почувствовала, что боль не отпускает, послала за акушеркой Сашенькой. К ее удивлению, пришел доктор Краб.

— Я вовсе и не больна, — смутилась Пелагея Матвеевна, — я просто так, чуток... Я хотела с Сашенькой...

— Мама, — перебила ее Оля, — ты же ничего не понимаешь. Сашенька — сестра, а доктор Краб — врач. У тебя же сердце.

— Ну, ну, ну, Пелагея Матвеевна, — весело начал доктор Краб, вытирая руки чистым полотенцем, — мы с тобой оба старики. А старики как дети, чего уж там стесняться...

— Господи, страмота-то какая — перед мужчиной рубашку снимать...

Доктор Краб послушал сердце больной, измерил давление. Потом вновь послушал и стал не торопясь снимать манжетку тонометра с плеча.

— В больницу надо, Пелагея Матвеевна. Полечим там, и все у тебя пройдет.

— Не нужна мне больница, доктор Краб. У меня уже не то с перепугу, не то от стыда боль прошла. Так что разреши мне дома полежать. В больнице я помру...

— Ну, что ты говоришь, мама! — рассердилась Оля. — Ты хоть раз была в больнице?

— Вот оттого и умру, доченька, что ни разу не была.

— Ладно, — сказал доктор Краб, — договорились. Только, чур, без моего разрешения не вставать с постели.

— Богом клянусь, доктор Краб. Не встану. Только оставьте меня дома. Я же помру, если хоть день на моей плите не будет готовиться обед...

— Я тебя не понимаю, Пелагея Матвеевна, — сказал доктор Краб. — Значит, все-таки ты собираешься готовить обед?

— Нет, доктор Краб, я же про плиту говорю. Покойный Никита, когда складывал печку, говорил, что теперь она должна топиться всю жизнь. Он говорил, что печь не топится только в мертвом доме. А готовить будут дочери. Дом нельзя без обеда оставлять. Толя каждый день приходит с работы, Сергей часто ночует дома. Нельзя оставлять дом без хозяйки. Иначе помру от беспокойства.

— Ну что ж, договорились. Лечить тебя будем дома. Я пошел, меня ждут в больнице. А вечером зайдем вместе с Сирануш. Ты только пей лекарства, которые я тебе оставил. Пусть Оля проследит...

— Доктор Краб, я тебя хотела спросить, — сказала Пелагея Матвеевна и добавила, обращаясь к дочери: — Ты, дочка, оставь нас на время. Пойди-ка к себе домой, потом придешь.

— Что, Пелагея Матвеевна, за секреты такие? — улыбнулся доктор Краб, когда Оля закрыла за собой дверь.

— Я все время тебя хочу спросить... Ты вспоминаешь Никиту хоть когда?

— Как же нам не вспоминать такого человека, Пелагея Матвеевна.

— Тут, понимаешь, в чем дело. В последнее время он стал приходить ко мне во сне. И я думаю, это неспроста. Он и раньше приходил, но сейчас, считай, каждый день. Видать, мой черед пришел, вот Никитушка и напоминает о себе. Только одно я никак не могу понять. В последнее время он приходил и справлялся об Анатолии. Больше ни о ком не спрашивал. Ни разу, скажем, о Сергее или о дочерях. Как там, говорит, мой младший сын? Я, говорит, с ним встретиться хочу, повидать его хочу. Позови, говорит, Пелагеюшка, младшего сына. Ну, я начинаю звать Анатолия и всякий раз просыпаюсь. И знаешь, что чудно? Он ведь никогда меня раньше не называл Пелагеюшкой. Я это точно помню, потому что сама всегда хотела, чтобы он меня называл поласковой, но только он ласку свою прятал в душе. Не показывал. Никому из детей я про сны мои не рассказывала. И решила тебя спросить... Ты человек ученый, доктор. Объясни мне, что это за сны?

— Если, как ты говоришь, по-ученому, — сказал доктор Краб, — сны ничего такого не определяют и не решают. Но скажу тебе, Пелагея Матвеевна, по секрету, что сам я даже верю в них. Думаю, ничего удивительного нет в том, что ты видишь Никиту Сибирцева. Ты же сама про него думаешь. А об Анатолии отец справляется потому, что сын попал в беду.

— Чего же мне делать, если он опять будет его звать?

— А ты ему скажи, что младший сын уже на правильную дорогу выходит, что он в город поедет, специальность там получит и все будет очень хорошо.

— Твоими бы устами да мед пить, — вздохнула Пелагея Матвеевна.

После первой же полочки Анатолий уехал в Петропавловск. Перед отъездом он напился и был со всеми нагло вато откровенен. Веря в свою исключительность и какие-то затаенные способности, он решил, что ему нечего делать среди неучей, которые так похожи друг на друга, даже мыслят одинаково. В конце концов, деньги можно заработать не только в лесу. Пару рейсов на траулере в море — и можно кое-что накопить. Это даже неплохо, что с мореходным училищем ничего не вышло. Стал бы профессиональным рыбаком. А дальше что? Всю жизнь пропадай в море, чтобы кормить рыбой береговых крыс и бичей. Нет уж, дудки. А пара рейсиков только украсит биографию.

Анатолий устроился на большой морозильный рыболовецкий траулер: матросы-рыбообработчики требовались на многие суда. Но выйти в море ему не довелось. Наслышавшись, что по морской традиции перед рейсом нужно непременно выпить, он перебрал лишнего и полез с вахтенным в драку. И если бы хоть было из-за чего! Вахтенный, пропуская его на борт, спокойно и даже доброжелательно предупредил: «Ты, малый, не мозоль глаза, быстрее прячься в кубрик. Капитан сегодня не в духе». Тут бы улыбнуться вахтенному, поблагодарить его и удалиться в кубрик. Но Анатолий, всегда по-своему толкующий чувство собственного достоинства, воспринял совет вахтенного как оскорбление и ударил его ногой.

Через пять минут он был списан на берег. Последнее, что он услышал, когда его вели по трапу, — были слова «скотина» и «дурак». В тот вечер его долго преследовали эти слова, вызывая все возрастающую ярость. Он никак не мог пережить, что его оскорбили, оставаясь безнаказанными.

Вечер для Анатолия, романтически настроенного перед выходом в море, закончился прозаически. Его забрали в вытрезвитель. После холодного душа он еще долго брыкался, пока не уснул мертвым сном в чистой постели.

Только утром он понял, что произошло с ним накануне. Оставив в вытрезвителе последние деньги, он побегал в порт. У серой и сырой бетонной стенки стояло уже другое судно. Анатолий постоял немного у пирса, глядя на зеленую воду бухты, махнул рукой и быстрым шагом ушел из порта. Он вспомнил, как вчера вечером его волокли по трапу, как обозвали скотиной и дураком.

У почтамта он пошарил в карманах, наскреб мелочь. Посчитал — тридцать семь копеек. Написал телеграмму: «Козы-

ревск. Сибирцеву Сергею. Срочно вышли Петропавловск сто рублей до востребования. Анатолий».

— Сорок три копейки, — подсчитала пожилая седоголовая женщина, не поднимая лица.

— У меня только тридцать семь, — сказал Анатолий.

— Ничего страшного. Тут у вас можно вычеркнуть два слова, и получится в самый раз. В Козыревске Сибирцевых много?

— Нет, сейчас один.

— Вот и хорошо, вычеркнем имя и вычеркнем слово «рублей». Ясно, что он должен выслать вам деньги, а не яблоки.

— Давайте. — Анатолий засмеялся и добавил: — Вы очень похожи на мою маму. Она тоже седая.

— Поседеешь с такими сыновьями...

— А когда придут деньги? — спросил Анатолий.

— Это уж будет зависеть от тех, кто вышлет. Если простой почтой — и до лета не дожدهшься своих денег.

— Как же быть?

— Давайте припишем еще одно слово: «телеграфом».

— Но у меня нет ни копейки.

— Ничего. Это я за свой счет, раз уж похожа на твою маму.

Через день Анатолий получил деньги. Попросил, чтобы рубль дали мелочью и чтоб непременно была трехкопеечная монета. Он подошел к стойке, где принимали телеграммы, но седой женщины не было. На ее месте сидел мужчина в очках и что-то писал на голубом бланке. Анатолий обратил внимание на то, что у пишущего не было на руке двух пальцев.

— Скажите, здесь была такая седая женщина? — спросил Анатолий.

— Она придет вечером, — ответил мужчина, не поднимая головы.

— Вы не смогли бы передать ей три копейки? Я ей должен.

— Смог бы. Почему не смог бы... — Мужчина в очках поднял голову, посмотрел на Анатолия, и они улыбнулись друг другу.

* * *

Маша по-прежнему редко выходила из дома. Она устала наткаться на людскую озлобленность, которая, похоже, становилась уже привычной. Весь день она проводила с сынишкой.

Сергея она не забыла. Все это разговоры, что боль проходит, что время вылечивает раны. Ее раны — мучительные думы о Сергее.

В ночь извержения Ключевского вулкана, сопровождавшегося землетрясением, Маша окольными путями пробралась к дому Сибирцевых и вернулась к себе, убедившись, что все у них в порядке. Когда у Сибирцевых праздновали возвращение Анатолия, она несколько раз украдкой проходила мимо их дома в надежде, что в общем гомоне, доносящемся из окон, она уловит голос Сергея. Несколько раз Маша видела, как по вечерам он возвращается домой, но каждый раз ноги словно наливались свинцом, и она, одеревенев, не могла двинуться с места, пока он не скрывался за калиткой. Иногда в такие моменты ей хотелось рвануться, догнать его, броситься на шею и целовать, целовать бородатое лицо, пахнущее лесом. Иногда хотелось закричать, презрев людскую сплоченную ненависть: «Чурбан ты бородатый! Стена холодная! И впрямь слепой. И не только слепой. Глухой. Да, да, да, глухой! Разве не слышишь, как стонет моя душа, как стучит сердце в груди? Слепой, слепой, слепой! Глухой, глухой, глухой! Я виновата перед тобой. Виновата перед Богом. Виновата перед партией, за которой мы с тобой сидели целых два дня. Я уже давно смирилась со своей судьбой. Но дай мне искупить вину! Лишь бы знать, что ты рядом. Мне не нужно твое прощение. Мне ничего от тебя не нужно. Я только хочу, чтобы ты знал, как я страдаю, как я люблю тебя. До конца своих дней я буду помнить наши вечера. Все, что связано с тобой, мне дорого: и этот проклявший меня суровый и родной мне поселок, и эта непреходящая людская отчужденность, и эти бугристые улицы, и извилистая тропинка, по которой ты каждый день идешь в лес, к своей кибитке, и звезды, звезды...»

Маша вовсе потеряла покой, когда акушерка Сашенька рассказала ей в больнице о странном ночном визите Сергея. Ей и верилось, и не верилось, что он справлялся о здоровье ее ребенка. Все выпрашивала Сашеньку о подробностях. Даже когда ребенка выписали домой, она находила повод и навевывалась в больницу к Сашеньке. Ей все казалось, что та могла забыть передать что-то очень важное. А вдруг он звал ее? Вдруг он среди ночи приходил в поселок, потому что ему было тяжело одному? Эти мысли не оставляли ее. Она решила, что непременно должна повидать его, хоть на миг, чтобы узнать, как там он.

Маша шла свежим, прохладным вечером вдоль реки, по которой с грохотом неслись огромные льдины. Может, в любое другое время она не то что не решилась бы в такой поздний час отправиться в лес, но и подумать об этом не посмела. Но сейчас, забыв

о страхе, она спешила к Сергею и думала только о нем. «Пусть он меня прогонит. Пусть. Прогонит — я снова к нему приду».

И все-таки, как она ни храбрилась в лесу, страх дал о себе знать. Много лет назад, когда Маша училась еще в школе, она не раз вместе с подругами ходила на лесосеку. Школьники давали концерты лесозаготовителям. Тогда она хорошо ориентировалась в лесу. Знала, что есть такие «усы», которые непременно выходят на большую поляну-вырубку, но она понимала и то, что с тех пор много раз меняли участок и каждый раз переносили кибитку, в которой обедали, а иногда и ночевали лесорубы.

Она шла все быстрее и быстрее, подгоняемая невесть откуда взявшимся страхом. Маша успокаивала себя тем, что ей хорошо было известно с самого детства: любая дорога, любая тропинка по всей округе густо зарастает, если хоть год не ходить по ней. Уж такая здесь земля. А тропинка, по которой шла Маша, будто светилась в ночи, так она выделялась на темной земле. Наконец она вышла на большую ровную дорогу, которая и привела ее к лесосеке.

...Когда Сергей, лежа на топчане, услышал Машин голос, он был уверен, что это ему показалось, и даже не шелохнулся. Сколько раз бывало вот так, когда он явно слышал, как она звала его, знал, что это сон, мечта. А сколько раз даже вздрагивал, особенно у своей калитки. Но тут же, словно пробудившись ото сна, шел дальше. Сейчас он не спал. В кибитке было прохладно. Сергей встал, подошел к печке и подбросил несколько поленьев. И тут за деревянной стеной его опять окликнули по имени. Это был все-таки Машин голос.

Сергей заспешил к выходу. Он ошупью нашел крючок, открыл дверь и встал в проеме, наклонившись вперед. Так он всегда делал, когда прислушивался к чему-либо. Тишина. Сергей медленно спустился по узким ступеням лестницы, представленной к кибитке, сделал два шага и остановился. Остановился рядом с Машей.

- Сережа, — тихо сказала она.
- Маша, — Сергей повернулся лицом к ней.
- Сережа, я пришла...
- Не надо. — Он протянул руки и коснулся ее плеч.

* * *

В Козыревске в последнее время много говорили об Анатолии. Вернувшись из города «с носом», как заметила острая на язык сестра Оля, он пил каждый день. Напившись, скандалил

на каждом углу маленького поселка. Встречные шарахались от него в стороны.

Но вскоре дружки отказались угощать Анатолия. У пьяниц свои неписанные законы: «Угостили тебя сегодня, будь добр, угости завтра сам». Денег у Анатолия не было. И он приставал к матери, требуя ежедневно по три рубля.

— Ну, откуда у меня деньги, сынок! Три рубля на улице не валяются.

— Не дашь, все распродам. Прибарахлились, куркули! Для чего дома столько вещей держать?

— Как для чего? Что ты такое говоришь, сынок? Вас же четверо было у меня. А сейчас, слава Богу, вон и внуки пошли.

— Было четверо, а теперь все сами по себе. А о внуках твоих пусть их отцы пекутся.

Когда после таких разговоров Пелагея Матвеевна начинала плакать, сын хлопал дверью и уходил из дома. Всегда находился какой-нибудь дружок, который его принимал. Приятели особенно любили выходные дни, когда в поселковом клубе устраивались танцы под баян, а в последнее время и под магнитофон. В такие дни они бывали более благосклонны к Анатолию. Потом они все вместе шумно отправлялись в клуб.

В этот вечер пьяная компания вместе с Анатолием ввалилась на танцы. Как только заиграла музыка, Анатолий шаткой походкой прошел через зал к группе девушек, теснившихся в углу. Он схватил за руку одну из них и грубо потянул к себе. В тот же миг, то ли с перепугу, то ли от храбрости, девушка наотмашь ударила парня по лицу. Зал ахнул. Перестала играть музыка. Опешил и Анатолий, не ожидавший такой прыти от хрупкой девчонки. Но уже в следующее мгновение он со всего размаха ударил тяжелым ботинком по ноге девушки и набросился на нее. Тотчас же множество рук схватили его и выволокли на улицу...

Анатолий проснулся рано утром от мучившей его жажды. Уселся на кровати, обхватив руками голову. Каждое движение вызывало боль в висках.

Пелагея Матвеевна, несмотря на ранний час, возилась у плиты. День был воскресный, и оба сына были дома.

— Мать! — крикнул Анатолий, не меняя позы.

Пелагея Матвеевна вошла в комнату, вытирая руки о фартук. Она села рядом с сыном и положила руку ему на плечо. Потом наклонилась к нему, словно хотела что-то сказать на ухо, и стала щекой водить по его рукам.

— Что же ты с собой делаешь, Толь? Сердце у меня обливается кровью, когда вижу, как ты губишь себя.

— Ты, мать, много говоришь, и притом с утра. Башка трещит. Дай хоть глоток спирту.

— Где же его взять, спирт?

— Где хочешь, мать. Мне плохо. Все у меня горит внутри. Дай хоть воды, хоть чего-нибудь.

Пелагея Матвеевна вышла на кухню и через некоторое время вернулась с банкой морошки в руках. Анатолий потянулся дрожащими руками к банке с алым соком, в котором плавали ягоды морошки. Он выпил все на одном дыхании.

— Хорошо. Прекрасно, мать, — сказал он, причмокнув губами. — Я читал, что Пушкин перед смертью морошки захотел. Пушкин, значит, знал толк в напитках... А теперь водки дай. Мне все равно плохо.

— Ну, будет тебе, сынок. Вставай одевайся, умойся холодной водой. Сергея разбуди. Я вам вкусный завтрак готовлю.

— Меня не надо будить, — раздался голос Сергея из другой комнаты, — я не сплю. Я всю ночь не спал...

— Сереж, будь другом, — громко и как-то радостно сказал Анатолий, — скажи, пусть мать найдет спирта или водки. Или дай трешку. Лечиться надо.

— Ты бы сначала вылечил ногу девушке. Вчера вечером я узнал, как ты Сгибовой дочке ногу сломал. И чуть ли не убить хотел.

— Какую ногу? Что ты мелешь спросонья, брат? — Анатолий с трудом припоминал вчерашний вечер, танцы и вдруг как-то сник.

— О какой это девушке идет речь? — вмешалась в разговор Пелагея Матвеевна. — Что случилось?

— Пусть он сам расскажет, мне противно, — сказал Сергей, надевая рубашку.

— Что ты от меня хочешь? — заорал Анатолий, подойдя к брату. — Ты сам был там? Ты видел? Баба при всех ударила меня. Так ей за это, может, еще ноги надо было целовать?

Пелагея Матвеевна встала между сыновьями:

— Умойтесь лучше, Сереж, Толь. Идите умойтесь. Я вам сейчас кушать подам.

Анатолий наскоро оделся, бурча что-то невнятное под нос, и выскочил в коридор.

— Куда ты, сынок? А завтрак?

— Идите вы оба со своим завтраком! — рявкнул он и выбежал на улицу.

* * *

День выдался на редкость тихим и теплым. Старожилы спорили, вспоминая, когда еще на их веку солнце так щедро и весело грело землю. Дети бегали по дворам раздетые — тоже редкая картина! Взрослые выходили из домов в одних рубашках, а то и в майках, показывая белоснежные плечи, не выдавшие загара.

В поселке было шумно. Наверно, оттого, что каждому не терпелось побыть на улице. И еще оттого, что тут и там визжали электропилы. В такой погожий день люди заготовливали дрова на зиму.

Пелагея Матвеевна и Сергей завтракали вдвоем. Ели молча. Накануне вечером, возвращаясь из леса, Сергей решил, что все скажет матери о Маше. Скажет, что вот уже с весны, с ледохода, Маша приходит к нему в лес. Он давно должен был рассказать об этом матери, открыто пройти через весь поселок к Машинному дому.

Но Анатолий разрушил все его планы. Разве можно о чем-нибудь таком говорить, когда накануне вечером брат избил соседскую девочку и сломал ей ногу. Разве можно после этого пройти через весь поселок к Машинному дому?

Еще накрывая на стол, мать несколько раз хотела было заговорить об Анатолии, но всякий раз Сергей резко обрывал разговор, не желая ничего слышать о брате. Все же мать не выдержала и, боясь Серезино гнева, скороговоркой выпалила:

— Что же теперь с ним будет, Господи?

— Не знаю, мать.

— Беда нам с ним, Сереза. Чует мое сердце: несчастье он принесет в наш дом. Я тебе не хотела говорить...

— О чем?

— Он всегда таскает с собой нож. Я-то уж вижу. В голенище прячет. Такой большой нож с оленьим черенком... Что теперь будет? Вот Сгибовой дочке ногу сломал? Что теперь будет?

— Не знаю, мать. Вчера, когда передали мне о девушке, так я подумал: хорошо, что я слепой, а то было бы стыдно людям в глаза смотреть. Ничего не знаю... Давай лучше сестер позови, пусть малость помогут — дрова буду пилить. Другого такого дня теперь долго не будет. Бабье лето короткое.

* * *

Пелагее Матвеевне не хотелось в воскресный день тревожить дочерей, и она сама взялась помочь сыну. Расчистила

место для конька, вытащила из сарая пилу и начала подавать Сергею длинные чурки, которые он распиливал на три части.

Работалось хорошо. Сергей вспоминал, как в детстве помогал отцу. Как сейчас мать, он тогда подавал поленья. Отец рубил тяжелым топором с длинным гладким топорщиком. Он часто объявлял перерывы, считая, что подавать и убирать дрова не менее трудно, чем рубить. И вот сейчас Сергей то и дело говорил:

— Отдохни, мать. Посиди чуток.

— Нет, сынок, так мы до вечера не управимся.

— Ничего, мать. Главное, чтобы ты не надорвалась. Сколько успеем, столько и успеем.

— День-то какой. Жалко.

— Ничего. Все дни в году наши.

К полудню он напил целую горку. Настроение заметно улучшилось. Работая, Сергей все время думал о Маше. Она в последнее время была какая-то особенная — и счастливая, и печальная одновременно. И все собиралась что-то сказать, но никак не решалась.

Мысли его прерывали частые вздохи матери. Он знал, что она мучается из-за Анатолия. И чтоб хоть чуть отвлечь ее, Сергей во время очередного перерыва начал разговор об отце. Пелагея Матвеевна любила говорить о покойном муже. О Никите Сибирцеве.

— Закругляемся, мать. Еще с часик поработаем, и я пойду на кладбище. Нельзя такой день весь тратить на дрова.

— И я пойду с тобой, Сережа. Совсем заматалась. Следохода не была у Никиты. Не сегодня завтра выпадет снег, и цветов уже не нарвешь...

Сергей вспомнил, что неделю назад он отнес цветы на могилу отца, но не хотел об этом говорить. Вспомнил и то, что белые ромашки на зеленом поле напоминали ему звезды в темном небе. Шагая по полузаросшей дороге к кладбищу, он подумал о том, что Анатолий никогда не ходил на могилу отца.

* * *

Когда Сергей и Пелагея Матвеевна вновь принялись за работу, шумно отворилась калитка и во двор ввалился Анатолий. Он едва держался на ногах. Волосы как всегда растрепаны, брюки в грязи, рубаха с разорванным воротом. Сделав несколько шагов, он остановился возле большой уже горки дров.

— Мать, — процедил сквозь зубы Анатолий, — только три рубля. Всего три...

— Иди спать, Анатолий, — строго сказал Сергей.

— Всего три. Не позорьте меня.

— Ты сам себя позоришь...

— Я прошу только три рубля. Мой черед пришел доставать полбанки. Гады вы! Брат называется! Сволочи вы!

Пелагея Матвеевна подошла к Анатолию. Она хотела увести его в дом, взяла его за руку и положила ее себе на плечо. Анатолий с силой толкнул мать. Пелагея Матвеевна упала на дрова.

Сергей наклонился, прислушиваясь к грохоту. Он не мог разобрать, что произошло. И вдруг он понял, что Анатолий ударил мать. От неожиданности Сергей даже растерялся и громко закричал:

— Мама!

— Ничего, сынок, ничего, — сказала Пелагея Матвеевна, тяжело поднимаясь, — я оступилась... Ничего. Все хорошо.

— Анатолий! — так же громко позвал Сергей, не двигаясь с места.

— Он домой побежал, — сказала Пелагея Матвеевна и, прихрамывая, подошла к Сергею. Она помогла ему выбраться с площадки, где кругом были разбросаны дрова, и подвела его к крыльцу. Зная, что им вдвоем не справиться с пьяным сыном, она решила сходить за Олей.

Через некоторое время Анатолий выскочил на крыльцо и стал орать на весь двор:

— Где вы, куркули, прячете деньги?

— Не кричи, Анатолий, люди услышат, — спокойно и негромко сказал Сергей, держась за перила крыльца. — Если ты проигрался или пришел твой черед платить, то я тебе дам денег. Только...

— Вот это другой разговор, — ухмыльнулся Анатолий, спускаясь по лестнице.

— Только я хотел сказать, что не надо позорить нашу фамилию.

— Послушай, добродетельный ты наш, — с кривой ухмылкой сказал Анатолий, — сейчас наша фамилия и трех рублей не стоит...

Сергей не видел брата, но они близко стояли друг возле друга, и он нанес точный и сильный удар прямо в скулу Анатолия. Тот грохнулся на ступени. С минуту лежал без движения. Потом привстал, встряхнул головой, плюнул и, держась за челюсть, процедил:

— Бить меня? Я тебе покажу, гад слепой!

Анатолий медленно поднялся. Качаясь подошел к брату и встал вплотную. Сергей, морщась, отвернулся, когда Анатолий дыхнул на него перегаром.

— Ты еще и брезгуешь мной, гад! — истерично взвился Анатолий и, выхватив из-за голенища нож с оленьим черенком, ударил им брата в живот.

Тонкая полоска света мелькнула у Сергея перед глазами. Он вдруг скрючился и присел. Его пальцы крепко сжимали олений черенок, но вытащить нож он боялся.

Анатолий вмиг протрезвел, бросился к брату, помог ему лечь на спину и, подложив руку под его голову, запричитал:

— Я не хотел, Сережа. Я не хотел. Ты только не умирай. Я не хотел.

Сергей медленно поднял лицо, ставшее белым как полотно, и тихо сказал, едва шевеля губами:

— Больно...

Анатолий хотел было вытащить нож, но, почувствовав, как Сергей с силой держится за олений черенок, побоялся сделать это.

Во двор вошли Пелагея Матвеевна и Оля. Мать первая увидела сыновей. Она сделала к ним шаг. Остановилась... и пронзительно закричала. Потом, запрокинув голову, резко умолкла, словно у нее сорвался голос. Оля успела подхватить мать...

На крик Пелагеи Матвеевны во двор прибежали люди. Они занесли в дом женщину, потерявшую сознание, и с большими усилиями оттащили от раненого грузное тело Анатолия, который рыдал и гладил брата по голове.

* * *

Когда доктору Крабу передали о случившемся, он распорядился, чтобы жена отправилась с ним. Так бывало, когда операцию приходилось делать прямо на месте.

...Стараясь быть как можно спокойнее, он подошел к раненому, присел на колено и начал осторожно вытаскивать нож. Из глубокой черной раны кровь не шла. «Печень. Внутреннее кровотечение», — подумал доктор про себя. Он то нащупывал пульс у шеи, то приподнимал веко и всматривался в зрачок, то, наклонившись, прикладывал ухо к груди, показывая жестом, чтобы вокруг не шумели.

Наконец доктор Краб тяжело поднялся. Белый халат его был испачкан в крови. Рядом стояла Сашенька, которая при осмотре раненого не присутствовала. Она сразу же прошла в

дом, где лежала без памяти Пелагея Матвеевна. Осмотрев ее, тотчас же вернулась.

— Как там? — тихо спросил доктор Краб.

— Глубокий обморок, — так же тихо ответила Сашенька и по глазам мужа поняла, что Сергею уже ничем помочь нельзя.

И он, словно прочитав ее мысли, произнес едва слышно:

— Поздно.

Но его услышали.

Вдруг кто-то крикнул: «Маша!» — и плотное кольцо вмиг разорвалось, образовался просвет. Люди давали Маше дорогу. Она стремительно прошла к центру круга и, увидев лежащего на земле окровавленного Сергея, закричала:

— Нет! — Потом бросилась к нему, упала на колени и, приподняв его голову, прижала к груди. — Нет! — еще громче закричала она. — Нет! Нет! Ты не умрешь! Это неправда! Сережа! Сережа! У нас будет ребенок! Ты не умрешь! Нет!..

* * *

Сергея похоронили рядом с отцом на высоком берегу реки. Отсюда хорошо был виден курящийся белоголовый Ключевской вулкан. На свежий бугор земли козыревцы молча клали букеты и венки — большей частью из ромашек. Вскоре над могилой выросла небольшая горка, которая казалась кусочком темного неба, щедро усыпанного яркими звездами.